

Пола Негри

ВОСПОМИНАНИЯ
ОДНОЙ
ЗВЕЗДЫ



Pola Negri

«MÉMOIRES
DE LA MODE
OT AЛЕКСАНДРА
ВАСИЛЬЕВА»

Пола Негри

Воспоминания одной звезды

Серия «Mémoires de la mode от Александра Васильева»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68476670
Воспоминания одной звезды: Этерна; М.; 2022
ISBN 978-5-480-00386-4

Аннотация

Пола Негри – актриса и секс-символ эпохи немого кино. Она работала в Польше, Германии, но особую популярность получила в Голливуде, сотрудничала с известными режиссерами, такими как Виктор Туржанский, Эрнст Любич, Макс Рейнхардт и др. Ее обожал Чарли Чаплин, в нее был влюблен Рудольф Валентино, а Сара Бернар признала ее своей наследницей. Полу Негри называли первой женщиной-вамп Голливуда и *femme fatale* немого кино.

Перед вами необыкновенные воспоминания этой яркой и неординарной женщины.

В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Предисловие к русскому изданию	7
Предисловие	17
Глава 1	21
Глава 2	90
Конец ознакомительного фрагмента.	102

Пола Негри

Воспоминания

одной звезды

*Посвящаю свои воспоминания моей матери,
а также Маргарет Вест¹ – самым лучшим
друзьям за всю мою жизнь*

*Выражаю особую благодарность Альфреду
Аллану Льюису² – за его помощь в подготовке этой
книги;*

*Мари Русси, моей секретарше – за ее труд по
напечатанию рукописи;*

*а также Лоренсу Эшимиду³ за его неустанные
усилия, направленные на то, чтобы эта книга
состоялась*

Pola Negri
Memoirs of a Star

© В. Белугин, перевод, 2022

© А.А. Васильев, предисловие, фотографии, 2022

© ООО «Издательство «Этерна», издание на русском языке,
2022



*Пола Негри, 1930 – Александр Васильев, Москва, 2007.
Фото Джеймса Хилли*

Предисловие к русскому изданию

Верно выбранный псевдоним и правильно составленный гардероб, положенный на яркую легенду еще при жизни – секрет успеха звезды немого кино Пола Негри. Подобно многим красавицам и знаменитостям начала XX века, Пола тщательно скрывала свой возраст, очевидно, пытаясь найти эликсир вечной молодости. Ей, увы, не нравилась дата ее рождения, и она придумала запоминавшуюся и вымышленную дату: «Я родилась в последний день прошлого века,» – любила повторять она. Но как бы заманчиво и выигрышно не выглядела дата 31 декабря 1899 года, это не соответствовало истине. Она родилась в Польше под именем Аполонии Барбары Халупец, в местечке Липно 31 декабря 1894 году в семье словацкого эмигранта-жестянщика Ежи Халупца и Элеоноры Келчевской, тщетно выдававшей себя за наследницу польских королей. В таком случае, брак жестянщика и аристократки голубых кровей был бы полным мезальянсом. Итак, отец будущей актрисы за революционную деятельность был сослан в Сибирь в 1902 году. Вскоре Поля с матерью переехали в Варшаву, где она поступила в балетную школу. Там они встретили давнего друга матери Каземира Гулевича, выходца из старинной западно-белорусской шляхетской фамилии. Он стал покровителем Пола и помогал ей всю свою жизнь. Туберкулез помешал девочке танцевать, но,

видя ее талант, мать отдает девочку в драматическую школу. Изначально в семье Халупец было трое детей, но двое скончались во младенчестве, и Поля воспитывалась одна. Аполония Барбара Халупец умно и заблаговременно выбрала себе сценический псевдоним Пола Негри, по имени популярной в начале XX века итальянской поэтессы Ады Негри. Она сохранила лишь домашнее имя Поля, уменьшительное от Аполонии, в первой части псевдонима, который принес ей позднее мировую славу.

Так как детство актрисы прошло в Царстве Польском, бывшем в то время частью Российской империи, по-русски она говорила очень хорошо, хоть и с легким польским акцентом, что естественно. Сохранились записи русских романсов в мелодичном исполнении Поля Негри, обладательницы глубоко сопрано, близкого к меццо.

Следующая глава жизни Поля перенесла ее на Варшавскую сцену, где в 19 лет она дебютировала в восточном представлении «Сумурун». Ее уже фотографировали и печатали на фотооткрытках, то есть выделяли из тысячи претенденток на звездность. На сцене в Варшаве юную и сексуальную Полу заметили кинопродюсеры немого кино, и в 1914 году она снялась в фильме «Раба страстей, раба порока». После событий 1917-го Полу Негри, уже популярную варшавскую актрису, увидел эмигрант из России, киевлянин Виктор Туржанский, муж знаменитой русской кинозвезды Натальи Кованько, и в 1918 году снял ее в фильме «Суррогаты любви».

Следует отметить, что о любви молодая актриса знала к тому времени немало. После успешной премьеры этого фильма, Аполония вышла замуж в 1919 году за польского графа Евгения Домбского. Этот брак продлился два года и был неудачным. Граф был состоятелен и влюблен, но семья мужа не приняла молоденькую актрису неизвестного происхождения. После успеха в Варшаве, где актриса успешно снялась в десятке немых фильмов, последовал Берлин и первые съемки в немецком немом кино. Туда она отправится вместе с Виктором Туржанским. Этот период продлится до 1923 года и памятен двадцатью семью картинами немого кино, в которых снялась Пола. Ее роли были часто в стиле «страдающая вамп», в период женской эмансипации подобное амплуа было редким и оплачивалось высоко. В Берлине она работала со знаменитым режиссером Максом Рейнхардтом и даже снималась в фильмах гениального Эрнста Любича, сыгравшего важнейшую роль в ее судьбе. Это было прекрасным началом долгой кинокарьеры. Пола была музыкальна, свежа, пластична. Ее яркая внешность напоминала библейскую, что впоследствии дало повод для подозрений со стороны нацистов, когда она вновь приедет в Германию в 1930-е годы. Пола Негри быстро овладела немецким языком, возможно, потому что с детства знала кроме польского и русского еще и идиш, либо просто понимала его. Тем более что происхождение ее матери Элеоноры Келчевской так и осталось загадкой.

Именно с Эрнстом Любичем Пола Негри в 1923 году отправилась в Голливуд, где подписала контракт со студией *Paramount*. Следует отметить, что первые успехи Пола на экране были связаны с новым течением в мире искусства – кубизмом. В моду вошел новый тип красоты – дамы с рублеными, не очень женственными, а скорее геометрическими фигурами. Кроме сцен танца живота в кинопостановке «Сумурун», актриса редко раздевалась в кино. Ее скорее укутывали в экзотические меха, она снималась в крупных шляпах геометрических форм, тюрбанах и модных по окончании Первой мировой войны низких налобных повязках, имитировавших бинтование ранений в голову. Она часто украшала себя колкими перьями хохолка цапли. Ей шел песок, мех шиншиллы, горностаи. Но самой геометрически выраженной частью ее внешности было лицо с полу-славянскими, полу-иудейскими чертами, с выпуклыми скулами, модными в 1920 году. Подобный кубический тип лица был и у Асты Нильсен, знаменитой датской дивы немого кино. Но мода изменчива, она быстро меняет свою траекторию, и типаж Пола Негри к середине 1920-х годов вышел из моды. Ей пришлось продумывать новую форму лица и закрывать его набриллиантиненными локонами, стараясь придать ему более узкую и вытянутую кукольную форму.

В макияже Пола Негри часто пользовалась глубокими темными тенями, характерными для образа женщины-вамп, выбеливала лицо и нередко рисовала себе пикантную мушку

– то над губой, то у глаза. Но главным ее «изобретением» был красный лак для ногтей. Введение его в моду в 1920-е годы в Голливуде, как правило, приписывают именно Поле Негри. Красные, или окровавленные, как говорила сама актриса, ногти были важным элементом образа женщины-вампи, кого часто играла героиня этой книги. Особенно запоминающимся костюмом Пола Негри был ее образ русской царевны Федоры в фильме «Москвичка» 1928 года, где она появилась в высоких сапогах-казаках из кожи белого цвета на каблучках, песцовой шубке в русском эмигрантском стиле с шапкой из меха белого песка. Этот головной убор потом повторила Джеральдина Чаплин в фильме «Доктор Живаго» (1965) и Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» (1976), что ввело подобный зимний головной убор в моду. Следует отметить, что Поле Негри также приписывают соперничество или даже вражду с Глорией Свенсон, другой голливудской дивой, американкой с европейскими корнями. Обе были притчей во языцех, хедлайнерами модной кинопрессы, миллионершами и кинозвездами, известными своими любовными похождениями. Одним из мужей Пола стал грузин из Батуми, самозванный «князь» Сергей Мдивани (1903–1936). Брак продлился 4 года, начался гламурно в 1927 году и окончился печально в 1931-м. Братья Мдивани, дети грузинского офицера царской армии, а их было пятеро – три брата и две сестры, попали в эмиграцию через Константинополь и самолично провозгласили себя князьями, так как

это было очень модно в те годы. Атлетически сложенные, любившие конный спорт наездники, спортивные плейбои с кавказской внешностью, они отличались обходительными манерами и были известны рекордным количеством браков со знаменитыми и богатыми дамами в США, тем самым создав себе прозвище «женящихся Мдивани». Среди их жертв была и Пола Негри, богатая, успешная и верившая в искренние чувства молодого мужчины. Известен анекдот той поры: отец самозванных князей, Захарий Мдивани, любил повторять, что он единственный, кто унаследовал титул от своих детей. Но Пола либо не знала о подлоге с титулом ее молодого грузинского мужа, либо была сама соучастницей. К аристократам ее тянуло, как, впрочем, и ее конкурентку, Глорию Свенсон, ставшую однажды французской маркизой де ла Фалез де Кудрэ. Как бы то ни было, но после первой брачной ночи с «грузинским князем» Пола сообщила журналистам, что это ее настоящий брак по любви.

До этого брака Пола даже была помолвлена в Голливуде с Чарли Чаплиным, но предпочла красавца и звезду немого кино Рудольфа Валентино. Его слава в ту эпоху была всеобъемлющей. Валентино, бывший исполнитель танго, попал в кинематограф благодаря помощи всемогущей звезды немого кино, уроженки Ялты, Аллы Назимовой и был кумиром публики в 1920-е годы.

Научно-технический прогресс в искусстве и появление звукового кино жестко ударил по карьере всех голливудских

звезд иностранного происхождения и даже по американских актеров, чья дикция или мелодика речи были не поставлены педагогами-речевиками. Так, в одночасье, великая звезда немого кино Пола Негри вдруг оказалась обладательницей забавного польского акцента. Ее акцент стал резать слух, и количество предложений к 1930 году резко сократилось. Конечно, такая участь постигла не только Полу, кино выбило из колеи и американок Глорию Свенсон, Клару Боу, Мэй Мюррей, русских актрис Ольгу Бакланову, Аллу Назимову и латиноамериканцев Раймона Наварро и Долорес дель Рио. Этот драматический поворот событий прекрасно показан в знаменитом голливудском мюзикле «Поющие под дождем» с Джинном Келли и Дебби Рейнольдс в главных ролях. Прогресс в кино и приход звука больно ударил по американской кинокарьере Пола Негри, но на этом ее несчастья не закончились. Ее любимый грузинский муж Серж Мдивани резко потерял интерес к своей супруге в 1929-м, после биржевого краха на Уолл-стрит в Нью Йорке. Пола лишилась в одночасье всех своих сбережений – огромной суммы в 5 миллионов долларов, а также прославленного голливудского особняка в Беверли-Хиллз, замка в Рей-Серенкуре недалеко от Парижа и даже виллы на Французской Ривьере.

Перед лицом банкротства Пола Негри была рада принять предложение немецких коллег и отправиться на съемки в Германию, переживавшую канун рождения нацистской диктатуры. Главным аргументом в пользу возобновления немец-

кой карьеры была лояльность к Поле Негри немецкого зрителя, ее знание немецкого языка и мощная американская рекламная компания 1920-х годов, прославившая Полу на весь мир, как одну из самых значимых артисток немого кино. Новая глава в ее жизни началась неплохо. Премьеры фильмов окрылили Полу, и поговаривают, что ей симпатизировал сам фюрер после 1933 года. Циркулировали упорные слухи об их любовной связи, которые Пола Негри не только отвергала, но даже выиграла процесс против французского журнала, обвинившем ее в этом. Гитлеру нравились иностранные актрисы немецкого кино. Он благоволил к уроженке Тифлиса Ольге Чеховой, урожденной Криппер, ему нравилась шведская кинодива Зара Леандер и, конечно, жизнерадостная венгерская примадонна Марика Рёкк. А присутствие в нацистском Берлине Полы Негри стало бы красивым дополнением к этой драгоценной киноколлекции. Думается, что Полу устраивали и гонорары, и фильмы, и возможность полноценно работать. Но неясность с происхождением матери привлекла пристальное внимание к происхождению Полы самого Геббельса, который видел в актрисе еврейские корни, а в 1930-е годы это могло было грозить серьезными репрессиями и даже концлагерем. Поле Негри даже запретили сниматься в Германии, но ей удалось как-то обелить себя и отделаться легким испугом. Сам Адольф Гитлер отменил приказ своего министра пропаганды Йозефа Геббельса, но нацистская диктатура, естественно, ничего хорошего творческим людям

не предвещала. Все же Пола снялась в Германии в эпоху нацизма в 8 кинокартинах, чаще всего в ролях русских аристократок.

Позже Пола Негри приняла верное решение и с началом военных действий вернулась в Голливуд в 1941 году, но прежнего успеха уже не добилась. Иные лица, типажи и сюжеты волновали американского зрителя в 1940-е годы. Предложений сниматься стало меньше, да и внешний типаж Пола не походил на востребованный временем стиль. Это время поющих див, вроде Дины Дурбин, Джуди Гарленд, Джинджер Роджерс, или роковых женщин, таких как Марлен Дитрих, Хеди Ламарр или Вероника Лейк. В 1943 году Пола снялась в комедии «Привет, Диддл-Диддл!» в эпизодической роли. В начале 1950-х она упустила шанс сыграть в фильме «Бульвар Сансет», где ей очень подошла бы роль стареющей и подзабытой звезды немого кино, мечтающей о возвращении на экран. Эту роль, вместо отказавшейся Пола, сыграла ее прежняя соперница Глория Свенсон и сделала это великолепно. Несмотря ни на что, кинокарьера Пола Негри продолжалась с перерывами, иногда очень значительными до 1964 года. Ее последним появлением на экране стал фильм «Лунные пряжи», не имевший большого успеха, и роль Пола была не главной. На пресс-конференции перед съемкой этого фильма она появилась перед камерами папарацци со своим партнером по картине – гепардом, чем произвела необычайный фурор.

Работа над книгой воспоминаний, которая лежит перед вами, явно скрасила последние годы жизни Полы. Она переехала в Техас, поселилась в Сан-Антонио и вела довольно замкнутый образ жизни. Кино осталось в прошлом, а каждодневная рутина пенсионерки давала ей весьма ограниченные жизненные радости. Она завещала свои архивы и личные вещи университету города Сан-Антонио и тихо скончалась в больнице 1 августа 1987 года. Уход этой яркой звезды немого кино не вызвал сильного резонанса в мировой прессе – уж слишком долго она не снималась...

В 1993 году польский режиссер Януш Юзефович загорелся идеей обессмертить красочную жизнь этой звезды в спектакле. Этот известный мюзикл потребовал 20 лет, чтобы технически реализовать проект в видео 3D. Для воплощения идеи были приглашены хореограф Барбара Деска и художник по костюмам Мария Бальцерек. Мировая премьера мюзикла под названием *Polita* прошла в 2011 году в небольшом польском городе Быдгощ. Полякам этот мюзикл очень понравился, но особенно большой успех он имел в 2014 году в Петербурге и Москве, где выдержал много успешных представлений на сцене Театра Российской армии.

Александр Васильев, историк моды, 2022

Предисловие

*Я не таким был с детских лет,
Как прочие; открылся свет
Иначе мне; мирских начал
В моих страстях не замечал⁴.*

Эдгар Аллан По «Один», 1829

В жизни неизбежно наступает момент, когда даже звезда экрана требуется привести в порядок свои воспоминания перед тем, как уйти в тень, скрыться от всеобщего внимания, посвятив себя собственной, частной жизни. Но ведь эта жизнь будет обязательно связана с ностальгией по прошлому, исполнена гордостью за собственные достижения, ну и конечно, сопряжена с памятью о случившихся неудачах.

В прошлом было опубликовано столько невероятных, порой скандальных историй, касавшихся глубоко личных моментов моей жизни, причем связанных как с моими триумфами, так и с трагическими событиями, что я зачастую задавала себе вопрос, причем с большой грустью: «А где же я сама во всем том, что написано? Где настоящая я?»

Все же, надо надеяться, именно мне надлежит высказать окончательное суждение о собственной жизни, поэтому оно должно быть исключительно правдивым. Все, что вы прочте-

⁴ Перевод Владимира Бойко.

те дальше на страницах этой книги, – это моя жизнь, такая, какой она была, и впервые о ней будет рассказано так, как я прожила ее в действительности.

Поскольку в дальнейшем, рано или поздно, я перестану быть в центре внимания публики, именно сейчас у меня есть возможность с помощью этих воспоминаний избавиться от того имиджа, того образа кинозвезды, под которым меня все до сих пор знали, и стать наконец самой собой, то есть той, кем я всегда и была, хотя это поневоле скрывалось за ярким фасадом гламурности и экзотичной внешности.



Пола Негри, 1920-е годы

Глава 1

Я была маленьким лебедем и скользила где-то сквозь густую, насыщенную зелень, но вот где именно, совершенно непонятно. Может быть, на пруду в Саксонском саду – огромном парке в центре Варшавы. Или в лесной чаще в окрестностях города Липно. Или в бархатном полумраке огромной сцены варшавского Императорского театра. Откуда-то сверху, из невообразимой вышины, мне озаряли путь снопы яркого света – то ли солнечные лучи, пронзавшие кроны сосен, то ли постоянно следовавший за мной луч театрального прожектора. Да только какая разница? Не все ли равно? Ведь я все кружусь и кружусь, выбрасывая ногу вперед и возвращая ее назад; я вращаюсь вокруг своей оси, ни на йоту не сходя с начальной позиции. Первое фуэте, второе, третье... – я же лебедь, Лебедь! – тридцатое фуэте, тридцать первое, тридцать второе фуэ... И вдруг – голос: «Пола, пора вставать! Уже пора, Пола! Слышишь? Скорей, надо выходить. Ведь почти шесть!» В окружавшую меня тьму протянулась рука, она нежно тормозила меня, переноса через мириады световых лет в унылый, тусклый, серый мир раннего варшавского утра. Поморгав, я открыла глаза, взгляделась в прекрасное лицо своей матери. В бледном свете обычно-го, хмурого дня на нем пролегли тени, и уже ясно, что ярко-го, сверкающего восхода солнца сегодня не будет. Правда, в

центре маминых голубых глаз трепетали крошечные огоньки, это отражался единственный источник света в комнате – маленькая вотивная свеча перед образом Ченстоховской Божией Матери.

Я поднялась, умылась ледяной водой, которую мама уже принесла от колонки во дворе. Мы очень спешим, и нет времени подогреть ее. Позже, уже в театре, в гримерной, я включила горячую воду, с наслаждением умылась под теплыми струями. О, театр! Сегодня, должно быть, самый счастливый день в моей жизни. Но тут я увидела, как мама старается разгладить ненужную складку на своем поношенном платье, и сразу все поняла: ведь на самом деле там нет никакой складки. Я ни разу не видела, чтобы мама плакала. Вместо этого она начинала разглаживать невидимую складку на платье... Или улыбалась. В Липно, где я родилась, мамина улыбка была всем знакома, да и как иначе: зарождаясь, подобно жаркому огоньку, она растекалась по всему ее лицу, заполняя собой даже мельчайшие морщинки вокруг глаз. Костюм, который мне нужно надеть для представления, висит на крючке, прямо на стене. У нас дома нет ни платяного шкафа, ни гардеробной: мы вешаем всю одежду на вбитые в стену гвозди. Из-за этого наша небольшая комната на чердаке всегда выглядит так, будто мы вот-вот отправимся куда-то в путешествие, да только мы никуда не уезжаем. «Теперь все изменится», – подумала я. Ведь я уже зарабатываю деньги, выступая в балете, поэтому теперь все совершенно точно изме-

нится. Для девятилетней девочки месячное жалование в пять золотых рублей (около десяти американских долларов⁵) – это очень немало, вполне достаточно, чтобы мир вокруг изменился! Я даже собралась подбодрить маму, поделившись с нею своей радостью, однако решила смолчать, завидев тихую грусть на мамином лице. И ее сегодняшняя печаль не имела отношения к недостатку денег...

Мутный серый свет пасмурного октябрьского утра влиялся через наше единственное окно, затмевая собой возникшее было чувство просветленности, исходившее от лампы перед образом Девы Марии. Она – королева Польши, наша заступница и покровительница, она – источник не меньших чудес, чем происходят в Лурде. И лишь она одна способна спасти нас от царской власти.

Три года назад мы с мамой взбирались по крутым ступеням, которые вели из нашего района в более богатые кварталы Варшавы. Эта часть города раскинулась во всей своей барочной красе на природной террасе, что возвышалась над набережной Вислы. В то утро нам согревали спины жаркие лучи солнца, вставшего над Прагой, варшавским районом на восточном берегу реки. Для начала паломнической процес-

⁵ Пола Негри всюду пишет, что цифра в рублях равна удвоенной цифре в долларах. Но когда после денежной реформы 1897 г. в России был введен золотой стандарт, курс рубля по отношению к доллару составил 1,94 (по данным 1909 г.). Правда, во время войны, в 1915-м, за доллар давали 6,7 рубля, а в 1917-м – 11 рублей!

сии ожидалась прекрасная погода.

Люди со всех концов Варшавы заполнили Замковую площадь. Толпа такая плотная, что нельзя двинуться ни вперед, ни назад. С самого верха высокой колонны в центре площади ее благословлял король Сигизмунд, осеняя всех крестом в правой руке. Под куполом колокольни костела Святой Анны уже раздавался торжественный колокольный звон. Но как мы с мамой ни старались пробиться внутрь этой церкви, все было напрасно. Казалось, что даже на коринфских колоннах ее портала и на самом портике было черным-черно от верующих. Так важно было для всех, чтобы архиепископ дал им свое благословение перед началом паломничества.

Мне всего шесть лет, поэтому я мало что могла увидеть, разве что рубахи кругом да бока пришедших, исполненных радостью и духовным стремлением. Вдруг меня подхватили чьи-то руки, какой-то рослый мужчина водрузил меня к себе на плечи. Все вокруг засмеялись. Даже моя мать улыбнулась, хотя ни на секунду не ослабляла усилий, чтобы пробиться поближе ко входу в церковь. А я была в полном восторге от вида, открывшегося мне с высоты. Я теперь могла обозреть все вокруг: и сам костел, и короля Сигизмунда на колонне, и здание королевского дворца, и фасады выходявших на площадь старинных домов, покрашенных кремовой, бежевой и желтой краской, с покатыми крышами из розовой черепицы. Тут распахнулись двери костела, и перед всеми появился старый-престарый архиепископ. Его все очень уважали, и

толпа тут же стихла, охваченная чувством почтения, смирив свое радостное возбуждение. Все сразу сняли шляпы, и меня ссадили на землю. Все в огромной толпе, с охами и вздохами, опустились на колени, после чего воцарилась полная тишина и стал слышен дрожащий, старческий голос священника, который благословлял нас, желал счастливого пути и божьей помощи в нашем святом паломничестве. Это означало, что официально началось паломничество в Ченстохову⁶. Все поднялись с колен с не меньшей радостью в душе, чем прежде, хотя теперь у этого чувства возникло иное качество: это была радость душевного спокойствия, умиротворенности, а не общая взбудораженность, которая только что чаще всего выражалась в бурном, безудержном хохоте.

Дрожащей рукой архиепископ поднял золотой пастырский жезл, увитый алыми лентами. Толпа тут же расступилась перед ним, и он пересек всю площадь, ведя за собой процессию по улице Краковское предместье. Сразу за ним шествовали священнослужители в белых, обшитых кружевами одеяниях, они размахивали кадилами, украшенными драгоценными камнями. Дальше шли мальчишки-хористы, которые держали ярко расписанные транспаранты, прославлявшие Непорочное Зачатие и возвещавшие об Успении Пресвятой Девы. Следом двигались еще и крепкие молодые люди, они несли скульптурные изображения Мадон-

⁶ Город на юге Польши, главный духовный центр Польши и место паломничества, связанное с Ченстоховской иконой Богородицы. – *Прим. ред.*

ны в восхитительных одеяниях, похожие на огромных кукол, и я даже мечтала поиграть с ними. Кстати, я снова смогла все разглядеть благодаря своему безвестному кавалеру, который снова посадил меня к себе на плечи. Мама поглядывала на меня, нерешительно улыбаясь. Она обычно проявляла куда ббольшую осторожность при общении с незнакомыми людьми, однако в этот раз ее успокаивал религиозный характер нашей процессии. Хор шел далеко впереди нас и пел церковные гимны, и их подхватывали остальные паломники, но до нас они долетали будто эхо из разных частей процессии, а затем эти же гимны слышались откуда-то позади нас. Когда я оглянулась, то увидела бесконечную людскую толпу до самого дальнего предела. Когда я вспоминаю, как впервые ощутила величие большого города, так сильно отличавшегося от сельского пейзажа в окрестностях моего Липно, где я родилась, в памяти возникают образы того дня и процессии, двигавшейся по улице Краковское предместье. Вокруг высились дворцы и храмы, там и университет, и здание правительства, и костел Святого Креста, где замуровано в колонну сердце Шопена. Правда, в моем тогдашнем возрасте, пожалуй, более важным казалась улица, где продают кофе мокко и сбитые сливки... Конечно, я видела все вокруг – и мрамор, и скульптуры, и колонны, и песчаник, и известняк, однако я могла с наслаждением думать только об одном – какие на этой улице пирожные! И еще – какая же я голодная! С прошлого вечера мы с мамой еще не имели ни крош-

ки во рту. Мама исповедалась и причастилась, а потому самым решительным образом была настроена на то, чтобы наше паломничество началось в состоянии благодати. Правда, я в тот год еще не приняла первое причастие, однако мама решила, что и мне будет не вредно пребывать в таком же состоянии. Ведь нам нужно было просить Мадонну о таком, что было куда важнее, чем какая-то там еда... Я понимала, что Она конечно же обязательно поможет нам. В такой прекрасный день просто никак нельзя было отказать нам с мамой в совершении любого чуда.

Маленькие костры, которые мы разводили по вечерам прямо под открытым небом, когда останавливались на ночлег, не могли притушить звездное сияние августовского неба. Местные крестьяне из деревень по пути в Ченстохову охотно давали нам поесть и попить, приглашали на ночлег, как будто надеялись, что благодаря этому какая-то часть священной сути нашего паломничества перейдет и на них.

Наконец мы дошли до Ченстоховы, завидев уже издали знаменитый монастырь на Ясной горе. Его основал в XIV веке король Владислав, в нем жили монахи из ордена паулинов. Монастырь этот, стоявший на холме, на крутом берегу над рекой Вартой, был куда больше похож на крепость, чем на святое место.

Паломничество завершилось грандиозной мессой в монастырском храме. Над алтарем был священный образ Божьей Матери, который, как считается, писан рукой самого святого

Луки, а под иконой – различные костыли и прочие предметы, в доказательство того, какие чудеса здесь совершались. Мама, встав на колени, потянула меня за собой, чтобы я тоже была коленопреклоненной. Она яростно зашептала: «Молись, дорогая моя девочка! Молись изо всех сил, чтобы Мать Божья вернула нам твоего отца!»

Я не видела отца почти год до этого, когда вся моя жизнь перевернулась. В то утро к нам пришли русские солдаты, чтобы арестовать его. Как только моя бабушка поняла, что происходит, то вывела меня прочь из комнаты, и я по-настоящему запомнила лишь одно – сапоги этих солдат: до чего же они были начищены, как они сверкали. В нашем городке это большая редкость, ведь почти все улицы были пыльными и грязными, поэтому с тех пор для меня начищенные до блеска сапоги – зловещий признак...

Тогда мы еще жили в Липно, небольшом городке Варшавской губернии, неподалеку от тогдашней границы с Германией. Первые пять лет моей жизни мой дом был там, и это единственный уютный, хороший дом, который я знала в последующем на протяжении долгого времени. Я была третьим ребенком у родителей, Ежи и Элеоноры Матиас Халупец, а родилась в канун нового века – 31 декабря 1899 года⁷. На-

⁷ Пола Негри здесь и далее приводит такую дату своего рождения. Она же выбита и на ее могильном камне на кладбище в Калифорнии. Однако в свидетельстве о рождении (его недавно нашли в офисе регистрации актов гражданского состояния города Липно) значится: «Барбара Аполония Халупец родилась 3 января 1897 года»!

звали меня Аполония, в честь матери отца, которая и стала моей крестной.

К моменту, когда я родилась, первый ребенок родителей уже умер, а моя сестра Фелиция вскоре тоже отошла в мир иной: она погибла в результате приступа коклюша, который в ту пору еще был очень серьезной болезнью и его не умели лечить. Я оказалась единственной выжившей из троих детей, и поскольку мое здоровье было слабым, меня всячески оберегали, невероятно любили, постоянно следили за мной. Наш дом был наполнен счастьем, а мама не переставала рассказывать мне, как все случилось у них с папой – это была любовь с первого взгляда. Что ж, любовь-то, может быть, и с первого взгляда, однако это яркий пример притяжения противоположностей... Мои родители были совершенно разными во всем – и физически, и по внешности, и по происхождению. Девичья фамилия мамы – де Келчевская. Она родилась в городе Брдув в семье обедневшего аристократа, которой прежде принадлежали огромные земельные владения. Но они утратили большую их часть после того, как Наполеон потерпел поражение, так как польские аристократы были на его стороне, выступая против России, своего традиционного врага и завоевателя. В юности Элеонора де Келчевская упустила немало возможностей удачно выйти замуж и разумно устроить свою судьбу. Ее родители умерли, когда ей исполнилось двадцать два года, и она решила отправиться в Варшаву, взяв с собой небольшое наследство. В Варшаве жили

две ее замужние сестры, они постоянно требовали от мамы найти себе подходящего мужа, пока не поздно: ведь ни внешность, ни наследство, как они предупреждали, не вечны. Но мама, видя их удобные, тщательно выстроенные замужества, в которых не было ни грамма любви, лишь улыбалась своей, всем известной, загадочной улыбкой и продолжала жить весело, поступая по-своему. Тогда у нее еще имелось достаточно средств, чтобы позволить себе в известной мере независимое существование. Жизнь в большом городе была восхитительной и предлагала немало приятного и радостного, поэтому Элеонора не собиралась никуда торопиться и не хотела отказываться от нее ради какого-то мужа, только если не окажется тот, кто был ей нужен.

В конце концов она его встретила, когда ей исполнился тридцать один год. Человек этот был на десять лет моложе, и если сестры прежде настойчиво требовали от нее выйти замуж за кого угодно, то теперь они еще громче и истеричнее были против, чтобы она связывала свою судьбу с Ежи Халу-пцом... Он ведь даже не поляк по национальности, приехал в Польшу из Словакии, причем у него явно было немало цыганской крови: достаточно увидеть его курчавые черные волосы, оливковый цвет кожи и темно-карие глаза... Элеонора смотрела на него, и с каждым разом он нравился ей все больше и больше. Она влюбилась. Ежи был к тому же красив, да еще и высокого роста. Какое удачное, счастливое сочетание, видимо, восхитилась она. Ее родные ничего не могли поде-

лать с ее решением, разве что без конца повторяли, что они, де Келчевские, просто не имеют права якшаться со всякими «чернявыми»...

В 1892 году весна началась рано. Сидя в кафе, под цветущими липами на Уяздовской аллее, которую часто называют Елисейскими Полями Варшавы, было совсем нетрудно опьянеть от задумчивого взгляда, от заразительного смеха, от вида золотых кудрей, от свежеприготовленного майского крющона, чем заливали большую спелую клубнику.

Сколько было веселого смеха, сколько раз опорожнялись бокалы, чтобы выловить на самом дне сладкую, сочную ягоду. А когда, наконец, удавалось ухватить клубнику зубами, удерживая ее бережно, но надежно в приоткрытых губах, то полагалось предложить откусить часть ее своему ухажеру, и это конечно же быстро приводило к поцелую... В ту пору подобное опьянение двух хорошо воспитанных молодых людей не могло продолжаться слишком долго, чтобы церковь не освятила их отношения. Они поженились в костеле Всех Святых, сопровождаемые слезами моих теток, но доподлинно неизвестно, были то слезы радости или отчаяния... Мой отец был жестянщиком по профессии. Все его родственники занимались таким же ремеслом на протяжении нескольких поколений. Мама помогла отцу купить в Липно небольшую фабрику (скорее мастерскую), на что потратила большую часть своего наследства. Уже довольно скоро дела пошли на лад, и тогда муж и жена Халупецы вызвали в Липно мать

Ежи и его брата по имени Павел, он должен был помогать моему отцу. Я хорошо помню папину мать, мою бабушку, которую я очень любила. Она была небольшого роста, седая и без конца нюхала табак. Черты лица у нее были резкими, и не сразу можно было распознать, что она была очень доброй и ласковой. В то же время бабушка обладала трезвым и практичным умом, поэтому оказывала папе неоценимую помощь в делах на фабрике – так же, как прежде помогала своему покойному мужу.

Мы жили в низком белом доме, все пять комнат загромождала массивная мебель тех лет. Тогда ведь вещи делали такими, чтобы они служили человеку не только всю его жизнь, но и куда дольше, чтобы их унаследовало не одно поколение. Бабушка и моя мать были исключительно набожными католичками, так что у нас в доме всюду висели распятия, изображения Мадонны, разные картины на религиозные темы. Я не помню, чтобы хотя бы в каком-то месте на стене была картина, посвященная обычной, светской жизни. Да и зачем, например, портреты их самих, когда все мы сами постоянно жили в этом доме?

К чему, например, какие-нибудь натюрморты или пейзажи, когда вокруг нас во все стороны раскинулись прекрасные, невероятно плодородные земли?

Зимой мы обычно собирались вокруг плиты на кухне, пока мама готовила удивительно вкусные блюда: она была поваром от бога. Правда, всех польских девочек обучали уме-

нию хорошо готовить, неважно, из благородной они семьи или нет. Однако моя мама умела не просто вкусно готовить, а делала гениальные блюда. Вот, например, густые супы «жюльен» со сметаной, овощами и различным мясом были такой густоты, что можно было подумать, будто ложка не упадет, если воткнуть ее вертикально в суп... Или ее свежеспеченный пшеничный хлеб, кусками которого так хорошо подбирать все, что осталось на дне тарелки. Жареный поросенок на вертеле, приготовленный на углях. Тончайшие блинчики-«креп» с начинкой из маминого варенья или конфитюров, их подавали на стол под шубой из свежезбитых сливок. Дом вообще всегда благоухал теплыми, заворачивавшими ароматами с кухни.

Когда наступала теплая погода, поля и луга во всей округе становились невероятно красочными, цвели васильки, маки, подсолнухи. Я бегала среди них, обнимая их как родных и любимых, которых давно не видела, набирала их столько, сколько хватало сил унести в руках. С приходом лета у нас в доме всюду были цветы. Тут и дикие, луговые цветы, и неженки из нашего сада – и все они делали темную мебель более яркой, смутно отражаясь в ней, украшали металлические распятия, превращая их в пасхальные дары.

Летом маленькие девочки из Липно тайком, вопреки запрету родителей, отправлялись бродить по ближайшему лесу. Там и в жару было прохладно, сумрачно. Солнечные лучи, проникая сквозь тесно сплетенные ветки высоких сосен,

падали на темную, усыпанную иглами почву, откуда высвечивались островки ландышей, похожих на россыпи драгоценностей. Мы резвились и играли в лесу, а заодно собирали ягоды и грибы, которыми наши края славились на всю Польшу. Когда я приносила их домой, делая свой вклад в кулинарные усилия мамы, они одновременно служили оправданием, зачем я ходила в запретный лес, и меня тогда не сильно ругали.

Ребенком я больше всего любила окружающий меня мир в пастельном кружевном мареве цветущих яблонь и вишен. Когда родители покупали мне игрушки, я дарила их другим детям, чтобы не принимать участия в обычных играх, откупиться от них и остаться одной, тогда я могла лазать на деревья. Я часами просиживала наверху, среди ветвей, и часами смотрела куда-то в даль. Интересно, что же я тогда пыталась рассмотреть? Сегодня и не вспомню, что именно привлекало меня, да в то время я, пожалуй, не смогла бы описать этого. Просто существовала вызывавшая удивление тайна, некий мир по ту сторону всего, что окружало меня, и он не пугал меня, но давал ощущение огромного томления и гнетущей тоски. Правда, несмотря на мои странные раздумья, пока я одиноко сидела на деревьях, меня никак нельзя было назвать несчастным ребенком. Просто время от времени мне требовалось побыть в одиночестве, не делясь ничем с другими.

Папа очень любил поддразнивать свою малышку, восседавшую с серьезным видом на своем троне высоко над зем-

лей. Он приходил домой в обеденное время и, задрав голову, вопрошал: «Как чувствует себя сегодня великая Замишлѳна?» Он дал мне это прозвище и называл так наполовину в шутку, но звучало это всегда ласково и любовно: это слово по-польски означает «мыслительница», «созерцательница». Когда он так меня называл, я бросалась к нему в объятия. Мы оба хохотали, и любые таинственные размышления отменялись, пока он не уходил на работу. Папа нес меня к столу, который мама уже выставила в сад, прямо под открытым небом. Когда она приносила еду, папа вдруг спрашивал меня с деланой серьезностью, как, по-моему, можно ли вот этот кусочек считать пищей для размышлений, а вон тот – пищей для мозгов? Мама улыбалась, светило солнышко, воздух был наполнен ароматами цветущего сада, а ветерок устилал землю целым ковром бархатных пастельных лепестков.

Правда, не всегда царствовала такая летняя идиллия. Как-то раз из-за этой самой «Замишлѳны» срочно послали за отцом. Когда он прибежал домой через несколько улиц, все домашние были в состоянии полной паники. Служанка причитала что есть сил, чуть ли не впадая в истерику. Бабушка, пав на колени перед одним из распятий, кричала на него с такой силой, что это была уже не мольба, а приказ, чтобы Господь совершил чудо. Мама безостановочно, широченными шагами, ходила из угла в угол, ломая руки в отчаянии, сплетая и расплетая пальцы, как будто эти жесты могли как-то вернуть случившееся в исходную точку. Тут же был местный врач,

который лишь повторял, что ничего нельзя сделать, так как я упала с одного из деревьев. По его мнению, я могла лишиться одного глаза... Папино появление сразу же остановило все это безумие. Он подхватил свою мать и, поставив ее на ноги, заставил прекратить громогласные молитвы; ухватил жену за запястье, прекратив заламывание рук, а затем сказал врачу (притом продолжая крепко держать обеих женщин и не давая им вернуться в прежнее состояние), что тот в корне неправ: не все потеряно, можно еще что-то сделать. Он сам сделает это.

Всего в часе езды от нас, по ту сторону границы, в городе Тóруни, имелся большой госпиталь. Мне забинтовали всю голову, я даже не понимала, что со мной происходит, и отец на дрожках, запряженных двумя лошадьми, повез меня через границу, в Германию. Там хирурги не дали ему никаких гарантий, что глаз удастся спасти, однако у них, по крайней мере, были самые современные возможности, чтобы проделать нужную операцию.

Очнулась я от звуков, напоминавших шум ветра в кронах деревьев, и от ароматов цветов из нашего сада. Вполне возможно, что я это лишь вообразила. Может быть, это привиделось мне во сне... Может быть, но окружавшая меня чернота напомнила о реальности, расставила все по своим местам. В неразборчивом бормотании постепенно удалось распознать знакомые интонации трех голосов – папы, мамы и бабушки. Они все приехали в Торунь. К счастью, все долж-

но было обойтись и, когда мне снимут бинты, я смогу снова видеть. Вскоре после этого я вернулась в Липно, в мой сад, в мой лес. Жизнь вновь обрела знакомые, такие чудесные черты.

И невзирая на увещевания родителей, я снова принялась лазать по деревьям...

С какого-то времени мой отец вдруг начал нередко уезжать в Варшаву, как он говорил, по делам. Для меня мало что изменилось, ведь мое домашнее существование было куда более связано с мамой и бабушкой. Я лишь заметила, что мама стала раздражаться по всякому поводу, но как только я уходила из дома, тут же забывала об этом. Правда, я слышала, как она ворчала, что отец никогда не берет ее с собой в Варшаву, а бабушке однажды сказала про какую-то любовницу. Я не понимала, на что она жалуется, да меня это все никак не касалось. Но вот однажды утром все резко изменилось, и начищенные до блеска сапоги увели моего отца с собой...

В 1904–1905 годах в Варшаве все бурлило, велась агитация за свободу, против русской оккупации. «Любовницей» моего отца оказалась одна из подпольных организаций, которая вела борьбу с империалистским режимом. В то время было много таких ячеек, их создавали и анархисты, и социалисты, и польские монархисты, и коммунисты, и все, кто хотел появления в Польше демократического правительства по типу американского. Именно к такой, последней, группе

принадлежал и мой отец. Вершиной варшавского восстания стало покушение на русского генерала, когда взрывом бомбы убили царского любимца⁸. Тут же была проведена облава на всех известных политических агитаторов, и мой отец был одним из них. Доказать, кто именно из них бросил бомбу, не смогли, однако власти не остановились перед тем, чтобы наказать всех арестованных, в том числе и невиновных. Отец пострадал особенно сильно. Он ведь даже не был поляком, не имел права вмешиваться в польские дела и в прошлом боролся с насилием, с ранней юности, когда присоединился к тем, кто выступал против австрийских властей у него в стране. Всего за несколько дней правительственные органы конфисковали все, что принадлежало моему отцу и было записано на его имя. Никто не собирался ожидать решения суда, доказательств вины или же оправдания, никого не волновало, что станет с его семьей. Конечно, нельзя сказать, что нам не обещали компенсировать понесенный ущерб, если только

⁸ Вероятно, речь идет о «Кровавой среде» (15 августа 1906 г.), когда боевая организация Польской партии социалистов (ППС) совершила скоординированные террористические акты в Варшаве и в 18 других городах Польши. Только в Варшаве, как сообщалось, было убито около двухсот и ранено около ста представителей власти (чиновников, полицейских, жандармов, агентов охраны). 18 августа три женщины из боевой организации ППС совершили покушение на варшавского генерал-губернатора Георгия Скалона, однако брошенные ими несколько бомб не достигли цели. Возможно, автор имеет в виду это событие, однако имена покушавшихся были известны и русский генерал не был убит. Интересно, что будущий лидер независимой Польши Юзеф Пилсудский, в 1905 г. состоявший в ППС, принадлежал тогда к тому крылу этой партии, которое выступало против проведения террористической акции.

его оправдают, но высказывали эти обещания с полным безразличием в голосе. Да и что нам от этих обещаний? Было известно, что суды такого рода могли тянуться годами, пока узник не терял здоровья в заключении, пока его близкие, ожидавшие возвращения из тюрьмы, влачили жалкое существование. Такое в ту пору господствовало правосудие в нашей порабощенной стране.

Нам еще повезло больше, чем многим другим. Ведь и дом, и утварь были собственностью матери, так что это власти не могли конфисковать. У нее также еще имелись кое-какие остатки наследства. В целом мы могли бы, проявляя большую осмотрительность, существовать в условиях так называемой благородной нищеты. Но маму невозможно было назвать осмотрительной и рачительной, поэтому уже довольно скоро наше нищенское существование никак нельзя было назвать «благородным»...

Хуже всего то, что счастливая жизнь осталась в прошлом навсегда. Отца заключили в ужасную варшавскую тюрьму Пáвяк («Павлин»), а его брат, дядя Павел, решил, что бабушку лучше увезти обратно в Словакию: слишком уж яростно она высказывалась во всеуслышание насчет того, что творят имперские суды в Польше. Мы же с мамой должны были остаться в Липно, так как требовалось продать дом, чтобы расплатиться с долгами.

В тот день, когда бабушка должна была уехать от нас, возможно навсегда, никто не плакал и не стенал. Стояла мерт-

вая тишина, такая бывает в доме, откуда уехали все его обитатели и остались лишь их тени, способные безмолвно глядеть друг сквозь друга, не имея возможности ни прикоснуться, ни говорить, ни преодолеть разлуку. Бабушка и дядя неслышно прошли к повозке, которую наняли, чтобы довести их до вокзала. Я смотрела на бабушку из окна и вдруг увидела, с каким трудом она взобралась на повозку, и заметила, как сильно она изменилась за последние несколько недель. Она вдруг превратилась в старуху. С какой болью в голосе она вдруг вскрикнула: «Замишлѳна!»... Я бросилась наружу, но, когда добежала до ворот, над дорогой уже висело облако пыли, поднятое копытами лошадей и колесами отъехавших дрожек. За нашу утварь и дом с участком земли мы получили неплохие деньги, но так случилось не благодаря умению мамы торговаться (этого она вовсе не умела) и не потому, что жители Липно были более сознательными, чем кто-либо еще (ничем подобным они не отличались от остальных). Нет, просто никто не осмелился нажать за счет семьи человека, который выступил против русских, он сразу же становился польским героем, за его семью могли заступиться его соратники.

Большая часть полученных средств была потрачена на юристов в надежде, что адвокаты смогут защитить отца. Остальные деньги ушли на наш с мамой переезд в Варшаву, чтобы мы могли быть поближе к нему. Мама еще сумела купить бакалейную лавку в одном из бедных районов и снять

комнату на чердаке в совсем бедном районе. Тогда мы и не подозревали, что там, на Броварной улице, в доме 11, нам предстояло прожить много лет.

В Ченстохове случалось немало чудес: хромые калеки начинали ходить, слепые прозревали, а язвы излечивались, однако у нас с мамой в результате паломничества никакого чуда не произошло. Суд вскоре вынес отцу приговор. Чтобы обжаловать его и подать на пересмотр, понадобилось потратить практически все, что мама отложила на черный день, однако невозможно даже представить себе, чтобы она этого не сделала. Но куда бы и к кому бы мама ни обращалась, ничего не вышло. Всюду она сталкивалась с вызывавшим отчаяние безразличием, ощущая леденящее дыхание безысходности.

В те годы бесплатное образование в Польше было столь недостаточным, что все учащиеся, кроме разве самых умных и выдающихся, получали очень мало знаний и до конца жизни лишь могли мечтать, как было бы хорошо хоть чему-то научиться. Простые люди могли дать своим детям мало-мальски приличное образование, только скопив немного денег и отправив их в одну из местных католических приходских школ. В тот же год, когда мы с мамой совершили наше паломничество, меня приняли в монастырскую школу для девочек, неподалеку от нашего дома. Там соученицы дали мне тогда единственный урок, который я затвердила на

всю жизнь, а именно, что благородство – это сугубо внутреннее качество человека, что вовсе не бедность и не постоянная борьба с лишениями делают человека благородным, как утверждали левые политики. Это такой же миф, как и заверения правых, будто благородство возникает у кого-то просто по праву рождения в высокородной и богатой семье...

Мои соученицы – все, как одна, из окрестных трущоб – не относились ко мне с товарищеским участием, хотя я, жившая в том же районе, была такой же жертвой обстоятельств, как и они. Более того, они избрали меня постоянной мишенью своих враждебных выходов. Причин для этого было, пожалуй, несколько. Я же приехала в столицу из провинции, а все девочки из моего класса всегда жили здесь. Но моя одежда выглядела лучше, чем у них, даже если она осталась у меня от более счастливых времен. Я была красивой, хотя еще и не осознавала этого. Последнее упоминаю не из-за отсутствия скромности, это на самом деле было так. У нас дома имелось лишь маленькое зеркальце, и мама носила его всегда с собой, чтобы поправить прическу, а похвалить дочку за внешний вид, за красоту она не считала нужным.

Я заплетала волосы в косы, как было принято в провинции, и мои соученицы с восторгом привязывали их к какому-нибудь столбу или калитке, делая все, чтобы я испытывала боль при малейшем движении. Они не принимали меня в свои игры, а на мою юбку кто-нибудь из них то и дело «случайно» проливал чернила... Я не могла пойти к матери

с жалобами, рассказать ей, как они издеваются надо мною. Мама и без того была измучена переживаниями из-за отца, из-за тревожных мыслей, что с нами случится и как вообще жить дальше, поскольку бакалейная лавка оказалась обузой, так как мама была не способна отпускать людям товары в кредит. В общем, я решила, что для меня единственное спасение – если меня исключат из школы. Господи, как же я старалась этого добиться! Я не делала уроки, перебивала учительницу, начиная говорить бог весть о чем, дразнила других девочек и издевалась над ними в присутствии монахинь. В этот момент мои одноклассницы притворялись ангелочками, а мстили мне позже, за спиной у монахинь. Но все было напрасно! Меня без конца наказывали, ставили в угол там же, в классе, предварительно сильно побив линейкой по костяшкам пальцев, так что я каждый день стояла лицом к стене – в общем, опять я была «замишлёной», созерцательницей невидимого, и мысли мои улетали далеко-далеко...

После уроков я с радостью бежала домой. На нашей улице, которая почему-то называлась Броварная, то есть «Пивоваренная» (хотя ни одной пивоварни здесь не было⁹), стояли

⁹ На самом деле Броварная улица, проложенная в 1768 г., получила свое название именно потому, что здесь находилась королевская пивоварня (в 1764 г. последний польский король Станислав Понятовский был коронован не в Кракове, а в Варшаве). Длина улицы всего 475 метров, на ее восточной стороне стояли небольшие кирпичные дома, а на другой стороне ничего не строили из-за заболоченной почвы у подножия холма. С середины XIX в. на Броварной селилась варшавская беднота. В 1960 г. последние уцелевшие дома старой застройки были снесены.

некрасивые, убогие строения. Это была полоса трущоб между рекой и высокой горой, там находились богатые кварталы. Большинство домов на Броварной внешне ничем не отличались от нашего дома, под номером 11, где мы с мамой занимали половину чердачного помещения. В другой половине соседи менялись без конца, и кто-то из них порой вел себя даже учтиво, но чаще всего они пребывали в состоянии такого отчаяния, что говорить о чем-то вроде благопристойности просто не приходилось. Уборная находилась на заднем дворе, пользовались ею все жильцы дома, рядом с нею высилась куча мусора и всевозможных отбросов. К счастью, окно нашей комнаты выходило на улицу, но все равно, мы настолько привыкли к ужасному сочетанию постоянной вони от чего-то гнившего во дворе и миазмов из Вислы, что, пожалуй, перестали это замечать.

Лишь попадая в другие районы города, мы вдруг замечали отсутствие зловония¹⁰.

¹⁰ В романе Всеволода Крестовского «Две силы» (1874) есть глава «Варшавские трущобы», в которой говорится: «Броварная улица идет под горою, вдоль берега Вислы, и не более как шагах в двухстах расстояния от него. <...> Это улица деятельная, торговая, с сильно преобладающим еврейским элементом. <...> Нет того скверного домишки, в котором не помещалось бы что-нибудь вроде кабака, кнейпы, баварии, харчевни, кофейни или съестной лавки; преимущественно же благоденствуют шинки. Шинок – почти необходимая принадлежность чуть ли не каждого дома на Броварной. И познав себя с характером жизни <...> обитателей этой улицы, перестанешь удивляться такому изобилию этих увеселительных заведений и поймешь <...>, что шинок тут является отцом-защитником и матерью-кормилицей этого непоказного народа. Но распивочная торговля опять-таки составляет принадлежность внешнего вида улицы и ее внешней жизни. <...>

В дальнем углу двора был еще один дом, похожий на наш, и в нем жили две дамы с дурной репутацией. Я не имела никакого представления об их профессии, но лишь очень удивлялась, отчего туда постоянно устремлялось так много различных мужчин. Когда я спросила об этом у мамы, она объяснила, что эти дамы – вдовы и к ним приходят в гости друзья их покойных мужей... Мне, впрочем, такое объяснение показалось не слишком убедительным. Ведь овдовев, польские женщины до конца жизни носят черные одежды, а эти странные «вдовы» почему-то всегда были одеты в невероятно яркие, красочные платья, каких я вообще нигде больше не видела.

Единственное исключение из убогого вида всей Броварной – это дом по соседству с нашим. Его построили недавно, к тому же он был одним из самых высоких во всем городе. Я так и не знаю, кто и почему построил его в таком трущобном районе. Стоял он с большим отступом от улицы, поэтому перед ним было достаточно места – такой же ширины, как у проезжей части – для игровой площадки, единственной во всей округе. Там собирались дети – и поляки, и татары, и евреи, – они общались друг с другом на смеси разных языков, и, может быть, поэтому им не хватало слов, чтобы ссориться друг с другом и драться, и в результате все чаще всего играли вместе, спонтанно являя собой картину некой

> Каждый почти домовладелец непременно держит шинок, и этот шинок служит чем-то вроде круговой поруки».

гармонии. . .

В три часа дня я обычно взлетала наверх по нашей лестнице, напяливала самую старую одежду и тут же мчалась вниз, чтобы участвовать в играх вместе со всеми. Одной из самых любимых была игра «горелки». Это русская детская игра, которой нас научили татары. Нужно было встать парами друг за другом, взявшись за руки, а впереди всех стоял водящий – «горелка». Когда он восклицал: «Огонь, беги!» – последняя пара детей расцепляла руки и бежала куда глаза глядят, лишь бы вода не догнал их и не коснулся – это означало «осалить». После этого осаленный становился «горелкой», а прошлый водящий брал за руку непойманного участника пары, и они становились во главе группы.

Однажды, это было в самый разгар моих школьных мучений, я заметила, что какая-то пара, мужчина и женщина, наблюдают, как мы играем в горелки. Они стояли у входа в новый дом, причем пару раз оба взмахом руки вроде бы подзывали к себе именно меня. Вообще-то я не обратила бы на них особого внимания, потому что они не слишком отличались от многих жителей нашей улицы. Правда, кожа у обоих была чистая, нежная, а одежда хоть и небогатая, но аккуратная. И еще они постоянно улыбались, а этого люди с нашей улицы почти никогда не делали.

Наконец я подбежала к ним и спросила: «Почему вы тычете на меня пальцами?» Переглянувшись, оба рассмеялись, да так заразительно, что и я вдруг стала смеяться вместе с

ними. Дети позвали меня, чтобы продолжить игру, но я отмахнулась и продолжала хохотать, причем без всякой причины. Ну, может, только потому, что я вдруг почувствовала, до чего же здорово и замечательно смеяться.

Мужчина, у кого были густые вьющиеся светлые волосы, сказал мне:

– Ты такая прыткая, так быстро бегаешь! Куда быстрее всех, даже быстрее почти всех мальчишек.

На это я лишь небрежно кивнула, ни капельки не скромничая: ну да, так оно и есть, само собой разумеется, что стало сигналом для нового приступа смеха, захватившего нас троих.

– А как тебя зовут?

– Аполония Халупец. Но все меня зовут просто Пола. А вас как?

– Меня – Ян Кощиньский, а это моя жена Хелена. – Голос у него был тонкий, высокий, почти женский.

Я повернулась к молодой женщине, у нее на голове высилась целая гора ярко-рыжих волос, а в ушах горели золотые кольца сережек. От этого казалось, что по всему ее веселому ангельскому личику танцевали тысячи маленьких отблесков.

– Ты очень грациозно двигаешься, – продолжил он. – Ты хотела бы танцевать?

Я лишь засмеялась в ответ. Что за странный вопрос? Любой девочке нравится танцевать.

– Ты не хочешь поступить в Императорскую балетную

школу? – спросил он.

Я было помотала отрицательно головой, но тут мне на ум пришла одна мысль.

– А мне в таком случае нужно будет ходить в обычную школу? – спросила я.

– Нет, не нужно. Если только твоя мама не договорится, чтобы ты ходила на занятия в школу в те часы, когда не занимаешься балетом. Ты не против?

– Нет-нет, что вы! Вовсе нет! Хорошо бы. Очень хорошо!

– В таком случае пригласи маму зайти к нам. Мы живем в квартире 403, – сказала Хелена, ласково потрепав мои волосы.

И они ушли. Как замечательно, что я продолжала бегать и прыгать вместе с другими детьми, а не то у меня от радости сердце выскочило бы из груди, пока мама не пришла вечером домой. Радость эта не имела никакого отношения к танцам, к балету, я думала лишь об одном: «Вот это да! Больше не надо ходить в эту школу!»

В первый момент мама и слышать не хотела, чтобы я пошла в балетную школу. Кроме оперы, любые представления на театральных подмостках были ей совершенно безразличны. К тому же физические нагрузки во время занятий балетом, конечно, очень большие, а меня, хоть я и казалась невероятно энергичной, то и дело одолевали всякие хвори. Кроме того, мама уже потеряла двоих детей, мужа и дом. Если что-то случится и со мной, она останется совсем одна, оглу-

шенная невозместимой утратой, влача нищенское одинокое существование, а это куда хуже, чем разделять нищету с кем-то еще. Любое страдание одному переносить гораздо труднее, чем с родным человеком. Но тут я вдруг невероятно рыдалась. Потoki слез, хлынувшие из моих глаз, сопровождались бурными рассказами о том, как надо мной издеваются в школе. У моей бедной матери тут же исчезли все самые лучшие намерения, она обняла меня и стала нежно покачивать у себя на руках, пока мои рыдания не утихли. Правда, и после того, как высохли мои слезы, она еще долго качала меня, совсем как младенца, не говоря ни слова, а под конец вымолвила со вздохом: «Ну, хорошо. Веди меня к твоим Кощиньским».

Оказалось, что супруги Кощиньские вовсе не из балета, а из оперного хора. О-о, так это не безумные танцоры балета, это певцы, да еще из оперы! Тогда совсем другое дело! Мама мгновенно прониклась к ним глубочайшей симпатией. Мне, кому не терпелось поскорее изменить свою судьбу и расстаться с ненавистной школой, пришлось ждать целую вечность (хотя на самом деле это, наверное, заняло всего минут пять), пока они обсуждали репертуар текущего сезона, рассказывали, кто будет петь, в какой роли и каких пригласили певцов из других стран. Я очень давно не слышала, чтобы мама разговаривала с таким воодушевлением. У нее даже лицо порозовело, она прямо помолодела на глазах. Как ни жаждала я поскорее узнать про свое будущее, все-таки не

хотела прерывать такие недолгие моменты счастья, которые выпали ей в этот день. Я довольствовалась тем, что начала потихоньку обследовать квартиру Кощиньских: она показалась мне невероятно роскошной! У них было целых две комнаты, а еще отдельная кухня и ванная с туалетом, прямо тут же, внутри квартиры – и все это только для них двоих, ни для кого больше! Кто бы мог подумать, что на нашей улице такое вообще возможно?!

У них даже был платяной шкаф, куда они вешали свою одежду, и в большом зеркале на его двери можно было увидеть себя в полный рост! Наверное, я очень долго изучала свое отражение в этом зеркале. Я просто не знала, как воспринимать то, что я там увидела: буйные длинные пряди волос, зеленые глаза, казавшиеся слишком большими на худом лице, широкие брови, очень бледная, почти белая кожа. Это красиво, привлекательно? Или у меня болезненный вид? Вдруг я услышала смех Хелены. Я подняла взгляд и увидела ее в зеркале: она стояла прямо позади меня, потом положила руки мне на плечи и сказала: «Ты очень-очень-очень красивая». Я ужасно смутилась и, повернувшись к ней, попыталась понять по выражению ее лица, не подтрунивает ли она надо мной. Но она лишь молча кивнула, потрепала меня по щеке в знак того, что вовсе не пошутила, и вернулась в гостиную.

Супруги Кощиньские не могли обещать, что меня наверняка примут в балетную школу, однако они были знакомы

с кем-то, кто мог замолвить за меня словечко, когда на следующей неделе начнется прием желающих. Для принятых в школу обучение было бесплатным, поскольку Императорский балет находился под патронатом самого царя. Танцоров там называли «его питомцами», быть может, потому, что Кшесинская, одна из великих балерин России, стала для Николая II не просто «питомицей»... Ведь она оставалась его фавориткой на протяжении нескольких лет¹¹, пока он не женился на германской принцессе, и во дворце, построенном по его приказанию¹², у нее был салон, где собирались, по-

¹¹ Это не совсем так. Кшесинской было 17 лет, когда Николай (ему был 21 год) обратил на нее внимание перед отъездом в путешествие, длившееся десять месяцев. Зимой 1892 г. они встретились вновь, но в театре, и лишь весной того же года Николай навестил балерину в доме ее родителей. Отношения были платоническими до конца января 1893 г., затем, до зимы 1894-го, это изменилось. Но когда Алиса Гессенская дала свое согласие на брак с Николаем (8 апреля 1894 г.), он прекратил отношения с Кшесинской. Царем он стал после смерти Александра III (20 октября 1894 г.), а бракосочетание с Алисой состоялось 14 ноября 1894 г. Матильда Кшесинская впоследствии имела связь с двумя из великих князей, родственников Николая II, и один из них признан отцом ее сына. Таким образом, она не была «его питомицей», пока был жив Александр III, и ее нельзя назвать «его фавориткой на протяжении нескольких лет»...

¹² Встречи Кшесинской с Николаем, когда они приобрели интимный характер в 1893 г., проходили в особняке, который он ей подарил, однако построен этот двухэтажный дом (по адресу: Английский проспект, 18) еще в начале 1870-х гг., и в 1876-м его приобрела балерина Мариинского театра Анна Кузнецова, любовница и гражданская жена двоюродного деда Николая II, великого князя Константина Николаевича. Позже, в 1904–1906 гг., балерина построила дом на Петроградской стороне, известный как «особняк Кшесинской». Тогда у нее была связь с великим князем Андреем Владимировичем: он был на несколько лет моложе ее и в 1902 г. стал отцом их сына Владимира. Все же на свои средства Кшесинская

жалуй, самые просвещенные, самые остроумные люди. После революции она бежала в Париж и там открыла балетную школу, благодаря которой на Западе смогли познакомиться с лучшими российскими методами подготовки балетных танцоров. Вот такая атмосфера царила в том мире, куда моя мать, пусть с большой неохотой, но все же решилась отпустить свое единственное дитя.

На первом этаже в доме 11 по Броварной улице снимала комнату учительница, одинокая старая дева. Мама договорилась, чтобы она, если меня примут в балетную школу, после окончания своей основной работы давала мне уроки по обычной школьной программе. Мама погрозила мне пальцем:

– Моя дочь ни в коем случае не станет одной из этих красоток, этих куколок, которые думать умеют лишь своими ножками...

Я не ослышалась? Она в самом деле сказала «красоток»? То есть и мама считает меня красивой?

– Ты слышишь, что я тебе сказала?

– Да, мама...

Вечером накануне дня приема мама долго не ложилась спать, гладила мою одежду, чинила и подшивала потрепанные края моего лучшего платья. Пусть она и не слишком

не могла построить такой большой особняк, и считается, что ей в этом помогли Романовы, тем более что до Андрея она была любовницей его отца, Владимира Александровича, а еще до этого – великого князя Сергея Михайловича.

одобряла того, что предстояло, однако никак не могла позволить своей дочери появиться в обществе иначе, кроме как в наилучшем по возможности виде. Ведь даже в первые грустные и мрачные годы нашей жизни в Варшаве она сама порой то повязывала какой-нибудь бант, то надевала потертые меха – подарок одной из своих сестер, то прикалывала цветок из атласной ленты или придумывала что-нибудь еще, что всегда выглядело довольно стильно и придавало чуть более шикарный вид одежде, которая доставалась нам с чужого плеча. Моя мама была из тех женщин, чья гордость проявлялась в безмолвных поступках. Она не любила много разглагольствовать, однако то немногое, что высказывала, всегда звучало остроумно и проницательно. Для меня не было большего наказания, чем услышать вкрадчивую иронию ее слов. Например, она могла просто, по-своему описать какой-нибудь из моих проступков, чтобы я никогда больше ничего подобного не делала...

Утром перед экзаменом мы обе оделись особенно тщательно. Мама вдруг нежно обхватила мое лицо ладонями, потом указательным пальцем тронула кончик моего носа.

Я вдруг почувствовала, что это куда лучше, чем поцелуй. «Не волнуйся», – только и сказала мама. Любопытно, что она словно понимала, как мне надоели косы, причинявшие мне столько горестей в школе. Во всяком случае, она уложила их на моей голове, укрепив цветными лентами: «Вот теперь ты совсем как Павлова!»

У входа в дом стояли дрожки. Я стала обходить их, но мама уже села внутрь и позвала меня: «Иди садись. Прима-балеринам не к лицу ходить в театр пешком...» Впрочем, лучше бы я пошла в театр пешком. Тогда было два типа дрожек, которые нанимали для поездок. Те, что подороже, имели мягкие сиденья и колеса на резиновых шинах, чтобы сидюков не так трясло. А у дешевых дрожек колеса были с металлическими ободами и сиденья жесткие, ничем не покрытые, так что при езде по булыжной мостовой любая неровность больно отзывалась и в спине, и в желудке... Мы наняли, разумеется, дешевые дрожки, хотя и это было для нас тогда невообразимой роскошью. Бедная мама хотела сделать как лучше, но пока мы ехали, меня стало сильно тошнить. Мой скудный завтрак то и дело устремлялся вверх, в горло, а я все время глотала, чтобы он оставался внизу. Наконец мы подъехали к зданию варшавской Императорской оперы и сошли на землю. Я огляделась вокруг, не обращая никакого внимания на красоты Театральной площади и думая лишь о том, что здесь, в этом огромном пустынном пространстве нет ни единого укромного места, где бы меня вытошнило незаметно для окружающих... Между тем нас направили ко входу, находившемуся с задней стороны этого огромного здания в неоклассическом стиле: ведь в нем находился не только большой театральный зал, где давали балетные и оперные представления, но еще и драматический театр – в зале меньших размеров, а также школа драматического искусства, ба-

летняя школа, классы для репетиций, декораторские мастерские, бутафорские и костюмерные цеха и множество помещений, которые требовались для управления столь сложным организмом и его функционирования. Все это было устроено вокруг открытого внутреннего двора, где в хорошую погоду красили декорации, а кроме того, через двор можно быстрее всего пройти из одной части здания в другую. Я не заметила ни роскошного Оперного кафе рядом с главным входом в здании оперы, ни того, как мы, повернув за угол, прошли мимо входов в драматический театр и театральную академию, завернули еще за один угол. Я лишь чувствовала, как с каждым шагом у меня в желудке бурлит все сильнее и сильнее. Я подергала маму за руку: «Мама, по-моему, я не...» Едва взглянув на меня, она сразу все поняла. Чтобы как-то поправить положение, она вынула из своей сумочки мятную пастилку и отправила ее мне в рот.

Мы прошли по сводчатой галерее, которая привела нас в фойе, где стояла огромная толпа девочек со своими матерями. Вскоре там появилась женщина со спокойным, чуть насмешливым выражением лица. Оглядев всех, она хлопнула в ладони и сказала: «Прошу внимания! Внимание!! Со мной пойдут только девочки. Мамам придется ожидать здесь». Кто-то из детей тут же заплакал, некоторые родители стали выражать свое недоумение. «Не стоит волноваться, не волнуйтесь, – сказала дама. – Все будет хорошо». Голос у нее был ласковым, добрым и соответствовал выражению ее лица.

Все же я было попятилась назад, но мама подтолкнула меня вперед, к ней. «Если хочешь быть там, тогда иди! – прошептала мама. – А не то пошли домой».

Я с большой неохотой оторвалась от мамы и в результате оказалась последней, за мной шла лишь женщина, которая всех нас вызвала. Пока мы двигались по длинному коридору, мне стало совсем плохо, и я поняла, что мятная пастилка мне ничуть не помогла. Вдруг чья-то рука, крепко ухватив меня за плечо, повела в сторону прямо в маленькую уборную. Меня нагнули над раковиной, и голос скомандовал: «Сунь палец в горло, да поглубже, чтобы тебя вырвало». Я повиновалась. Из моих глаз брызнули слезы, но сразу же стало легче. Я взглянула на ту, кто меня сюда привел, – это была все та же дама. Улыбаясь, она смочила полотенце и аккуратно вытерла мне уголки губ. «Не бойся, – сказала она. – Когда я первый раз пришла сюда, со мной случилось то же самое». Она вынула флакон духов и немного подушила меня вокруг губ и на лбу. «Ну вот и все. Теперь ты пахнешь так же чудно, как и выглядишь».

Она быстро потащила меня за собой до конца коридора, до высоченных двухстворчатых дверей, открыла их и втокнула меня внутрь. Я было повернулась, чтобы поблагодарить, но ее и след простыл. Мы с нею встретились лишь позже, через год. Помещение, куда я попала, было огромным. На стенах – одни зеркала, от ничем не застеленного пола до самого потолка с богатым орнаментом. Однообразное отра-

жение в зеркалах прерывал лишь балетный станок, который окружал комнату по всем четырем сторонам. Девочки уже выстроились вдоль него. Пока шла на свое место в свободном дальнем углу, я принялась всех разглядывать и, конечно, тут же упала духом: хотя девочки явно происходили из разных социальных слоев, они были лучшими из лучших. Некоторые были до того красивы, что буквально захватывало дух. Другие пришли в такой элегантной одежде, что это полностью сводило на нет все усилия моей мамы, старавшейся облагородить мою поношенную юбку. А третьи, судя по тому, с каким почтением к ним обращались, происходили из каких-то влиятельных семей, так что можно было не сомневаться – эти наверняка поступят в балетную школу. Могла ли я составить им конкуренцию? Конечно нет. Ну и ладно, ну и пусть! Если я и поняла, что не в силах победить в этом конкурсе, но никто же об этом не знает, вдруг решила я. Всем окружающим должно казаться, будто я уверена и способна не только конкурировать с ними, но и победить. Я прошла на свое место с высоко поднятым, нахально задранным подбородком и дерзкой улыбкой на лице, хотя сама в это же самое время мысленно молилась, чтобы не выдать своего истинного состояния полной незащищенности и растерянности. Выбрали, разумеется, самых красивых девочек. Правда, окончательный отбор произошел куда строже, уже на следующем этапе: оценивалась манера держаться и умение подать себя. Было бы глупо предлагать детям нашего возраста показать,

как они умеют танцевать, ведь никто из пришедших этому не обучался. Талант к танцу проявится позже, во время занятий в классе, поэтому комиссия, медленно двигаясь вдоль шеренги желавших поступить в балетную школу, выбирая одних и отказывая другим, обращала внимание не на это. Я боялась поднять глаза, чтобы оглядеться и понять, кого выбирают. Наконец комиссия дошла до меня. И тут я подняла глаза, чтобы все увидели вызов в моем взгляде: я уставилась на них, а на моих губах играла нахальная улыбка. Моя выходка, вероятно, произвела определенное впечатление, кто-то из них даже рассмеялся, и меня попросили остаться. Оглядевшись по сторонам, я увидела, что оставили всех тех, про кого я и подумала. Но это уже было неважно. Ведь я чудом оказалась одной из них, принятых в балетную школу!

Правда, на самом деле и это еще не было окончательным решением. Требовалось пройти еще один этап. Нас вывели из зала через другую дверь, напротив, и мы проследовали по грандиозной галерее, увешанной большими, в полный рост, портретами знаменитых балерин и балетных танцоров. По их фигурам играли радужные зайчики от хрустальных подвесок огромной люстры, освещенной солнечными лучами, которые вливались через круглые окна под потолком. В этом зачарованном мире, где господствовала тишина, наши шаги заглушал толстый ковер. И все мы, пока шли через галерею, тоже не нарушили эту мертвую тишину, даже не осмеливались переговариваться друг с другом, пока не закончился по-

следний этап отбора.

Затем мы оказались еще в одном помещении, почти таком же, как первое, только меньше размером: там был репетиционный зал, а здесь – балетный класс. У одной из зеркальных стен был оборудован медицинский пункт, и нам сказали полностью раздеться, до трусиков. Увидев свое отражение в зеркале, я даже испугалась – какая же я худая, одни кости, и грудь впалая. Теперь меня точно отсеют. На что им нужна такая худышка? Я сравнила себя с другой девочкой, которая стояла рядом со мною. До чего же она холеная, ухоженная, какие у нее округлости, все такое наполненное, гладкое, мягкое, не то что я – щуплая, худосочная... Ну что же я не ела раньше как можно больше лесной земляники и грибов? Почему никогда не доедала все те вкусные, питательные блюда, что готовила мама, когда мы еще могли себе позволить такую еду?

Но вот у врача дошла очередь до девочки-пышки прямо передо мною, и он, слегка ущипнув ее за щечки-яблочки, сказал без всякого злорадства в голосе, что она слишком полная. Придется ей похудеть на несколько килограммов, надо согнать вес с помощью упражнений в физкультурном классе. Тут я почему-то очень обрадовалась... Мне же врач ничего, к счастью, не сказал. Хотя я была совершенно уверена, что он признает меня негодной, потому что не смогут они прибавить мне вес в физкультурном классе...

Одевшись, я помчалась туда, где меня ждала мама. Обни-

мая ее, я кричала, что меня приняли, что я добилась своего! Мы тут же отпраздновали это в Оперном кафе: пили великолепный чай с вкуснейшими пирожными. Я никогда прежде не видела столько красивых людей в таких прекрасных одеждах, и они все улыбались и кивали друг другу, перекликались, приветственно махали руками. Все они, вероятно, были знакомы друг с другом, лишь нас с мамой никто не знал, и мы здесь никого не знали. Мы были тут посторонними и как будто бы смотрели на них откуда-то снаружи, через стекло... Правда, для меня это не играло никакой роли, ведь здесь и вид был чудесный, и солнце светило на нас по-другому – оно ласкало нас, а не ослепляло, нежно купало в своих лучах, как во время легкого летнего дождика. Мама поцеловала меня в щеку со словами: «Ну что ж, дорогая моя, всему свое время».

Вскоре после этого шикарного празднования мама окончательно разорилась, так как ее финансовые способности всегда оставляли желать лучшего... Правда, как раз это стало для нас большим благословением, потому что через некоторое время в нашей жизни появилась мадам Фаянс. Однажды – я как раз билась над математическими тонкостями процесса вычитания – мама вбежала в комнату и принялась меня обнимать, восклицая: «Мы спасены! Мы спасены!» – после чего обратилась к учительнице, которой порядком задолжала за мои уроки: «И вы, вы тоже спасены! Я нашла великолепное место, там нужно готовить. Есть, правда, небольшая проблема. Эта дама, которая нанимает меня по-

варихой, – еврейка, и мне надо срочно научиться готовить кошерные блюда. Но ведь у вас, наверное, нет учебников на эту тему, правда?»

Не успела учительница что-то ответить, как мама уже выскочила из комнаты. Она навестила все еврейские семьи в окрестных домах и подробно записывала все, что ей рассказывали о религиозных правилах кашрута. Какое-то время мы с мамой делали наши уроки за одним столом: я учила правила правописания, а она – правила иудейской диеты. Порой мама бормотала себе под нос что-то загадочное, например: «Вот везет же этому поросенку. Живи себе спокойно до глубокой старости...»

Обычно считают, что в Варшаве все евреи жили в гетто. Это неверно. Они жили по всему городу. Большинство из них, правда, и в самом деле предпочитало обитать в гетто, и это был город в городе, существовавший по собственным правилам. В ту пору уже начались погромы, и жить в гетто евреям было спокойнее. Но все это не касалось мадам Фаянс, которая наняла маму: она занимала целый второй этаж многоквартирного дома на Маршалковской улице, в жилом комплексе богатого квартала, примерно такого же типа, какие существуют вокруг Альберт-холла в Лондоне или же близ площади Звезды в Париже. Такие комплексы, строившиеся на рубеже столетий во всех крупных городах Европы, предназначались для недавно разбогатевших предпринимателей, промышленников, у кого уже появилось немало денег,

а дворцов себе еще не приобрели. Семейство Фаянс владело одной из самых крупных пароходных компаний на Висле¹³. Управляли ею двое сыновей вдовы основателя этой компании, и они каждую пятницу приходили к ней в гости вместе с семьями, и до вечера каждой пятницы маме приходилось испытывать муки творчества, пытаясь приготовить из курицы какое-нибудь небывалое, новое и, разумеется, кошерное блюдо.

Как-то раз мне было сказано прийти из балетной школы напрямиком в квартиру на Маршалковской. В этом доме все – и латунное обрамление, и панели из граненого стекла, и мраморная лестница, и темные дубовые панели на стенах – было до того начищено, все так блестело, что всюду можно было увидеть разные варианты собственного, искаженного, карикатурного отражения.

Я взбежала вверх по лестнице, перескакивая сразу через две ступеньки, допрыгала, будто играя в «классики», по выложенному клетками мраморному полу до двери с начищенной до блеска табличкой «Фаянс» и позвонила, для чего надо было резко потянуть за круглую ручку и тут же отпустить ее. Дверь распахнулась, ее открыл лакей, и мне на руки мигом запрыгнул шоколадный пудель. Откуда-то изнутри квартиры раздался тонкий, совершенно птичий голосок: «Ах, Мар-

¹³ Покойный муж мадам Фаянс – Ф а я н с Маурыцы (1827–1897) – крупный предприниматель, который занимался транспортными перевозками по Висле, тогда как его брат, Ф а я н с Максимилиан (1825–1890), был известен как художник-график, литограф и фотограф.

сель, ну какой же ты шалун! Вот озорник!» Марсель потяв-
кал в ответ, как бы в знак протеста. «О, да ты его поймала!
Входи, входи. Ты ведь Пола, верно? А я мадам Фаянс. Мы
тебя ждем. Не заблудилась? Ну, ясное дело, что нет. Пришла
ведь. Что ж, молодец, умничка».

Она все время хихикала и что-то говорила без остановки.
Слов было много, я не могла их все разобрать, да к тому же
все мое внимание привлекло возникшее передо мной приви-
дение. Маленькое, сгорбленное, высохшее создание, она бы-
ла вся затянута в черный бархат, до сморщенной шеи, с кото-
рой свисало множество жемчужных нитей; ее голову увенчи-
вала грандиозная копна ярко-рыжих волос – я таких вообще
никогда не видела; а между шеей и шевелюрой проглядывало
лицо, которое можно было назвать остатком прежней роско-
ши: огромный нос, черные, все еще лучистые глаза, но лицо
все было в морщинах: тысячи морщин избороздили его во
всех направлениях, в том числе пересекая друг друга, пол-
ностью уничтожая форму рта, подбородка, щек, бровей...
Голос ее не смолкал ни на минуту, то возвышался до кри-
ка, то стихал почти до мурлыканья: «Очаровательно! Какая
славная, милая девочка! Ой, да ты мне жизнь спасла, прав-
да-правда – ведь ты же – раз! – и поймала этого шалунишку
Марселя!» – и дальше, без перерыва: «Любишь собачек? Ох,
как я рада. У нас еще есть». И тут же, как по волшебству, от-
куда-то выскочили еще три пуделя. «Вот они, мои дорогие.
Это Кики, это Колётт, а еще, вон тот – как его? Ах да, Бо-

напарт. Поиграй с ними. Только избавь меня от них. На что они мне сдались, вообще не понимаю. Терпеть не могу животных...» Хозяйка предложила мне шоколадку, лежавшую на серебряном подносе, потом взяла и для себя, но тут же скармила ее собакам. «Терпеть их не могу, противных! Вот вам, мои лапочки. А ты пойди да найди свою маму».

Мадам Фаянс взмахнула рукой, указывая, что кухня где-то там, дальше, в той стороне, а сама, повернувшись к лакею, который все еще стоял у входной двери, разразилась целым потоком указаний и распоряжений. Я пошла вглубь квартиры, оставив и хозяйку, и лакея в окружении курчавых, без конца лаявших, суетившихся пуделей. В поисках мамы, пытаюсь найти кухню, я переходила из одной гостиной в другую, и всюду стояла мебель с инкрустацией и позолотой в стиле одного из трех французских Людовиков. Паркетные полы устилали изношенные, потертые ковры. Позже я узнала, что их следовало было воспринимать как шикарные, обюссонские¹⁴, очень ценные. В конце концов я нашла маму на огромной кухне, где все, включая плиту, имелось в двойном экземпляре, потому что одни кухонные принадлежности служили только для приготовления блюд с мясом, а другие – для блюд без мяса. Мама чувствовала себя здесь как в родной стихии и, хотя ее работодательница питалась

¹⁴ Мануфактура в городе Обюссон, во французском регионе Лимузен была создана под патронатом короля Людовика XIV в 1665 г. для производства гобеленов, а ковры для пола там начали выпускать с 1742 г.

какими-то крохами, будто клевала как птичка (она и внешне была похожа на птичку-невеличку), тем не менее целыми днями только и делала, что готовила пищу.

Когда я вошла на кухню, мама как раз готовила легкий обед для хозяйки. Она тут же поставила передо мной поднос, на нем стояли чашка какао и прекрасное печенье, которое она сама испекла. Пожирая все эти лакомства, я все же спросила у мамы про волосы мадам Фаянс. Они же у нее такие красивые! «Это парик, – сказала мама. – Всем еврейкам раньше полагалось носить парики, когда они выходили замуж. Считалось, что тогда они перестанут быть привлекательными для кого-нибудь еще, кроме своих мужей. Но между нами говоря, мадам Фаянс, по-моему, выбрала себе такой парик скорее из тщеславия. Ну, чтобы привлекать к себе внимание...»

Я провела этот день, разгуливая по бесконечным позолоченным комнатам, и до меня лишь издали доносился несмолкаемый поток трескотни мадам Фаянс, это было похоже на крики какой-то экзотической птицы. Понравилось бы мне жить в таком доме? Кое-что меня тут привлекало, но в целом я не принимала подобную обстановку. Тут было так много вещей, они удушили бы меня, моя свобода оказалась бы погребена под ними. Быть может, во мне сказалась цыганская кровь отца, но это раздвоение, какое я впервые ощутила в доме у мадам Фаянс, впоследствии доминировало у меня на протяжении всей моей жизни.

Отношения между мадам Фаянс и мамой вовсе не были такими, какие обычно бывают между работницей и хозяйкой. Они скорее были как две подруги, причем богатство старой хозяйки было как бы скомпенсировано благородным происхождением мамы, то есть между ними установилось своеобразное равенство. Во всяком случае, обе относились друг к другу с большим уважением, сохраняя чувство собственного достоинства.

В тот день я побывала у мадам Фаянс в первый, но далеко не в последний раз. Я оставалась там, например, чтобы поиграть с собаками, пока мама сопровождала хозяйку в оперу. После их возвращения нас с мамой отвозил домой изящный экипаж с двумя лошадьми и кучером в ливрее. Часто нам составляли компанию и Кощиньские, которых мы забирали после оперного спектакля, и пока трое взрослых обменивались критическими замечаниями по поводу выступления певцов, я дремала, прислонившись к маминому плечу. Просыпалась я только к тому моменту, когда мы эффектно въезжали на нашу Броварную. Увы, было уже так поздно, что никто нас там ни разу не видел, и в этом смысле можно бы и пешком возвращаться домой...

В те дни, когда ходили в оперу, мама всегда к вечеру выглядела особенно красиво, она надевала свою лучшую одежду, а прическу ей делала служанка хозяйки. Мадам Фаянс и мама всегда отправлялись на представление вместе, при этом семидесятилетняя хозяйка не умолкала ни на секунду.

(Я даже несколько раз спрашивала маму, перестает ли мадам разговаривать во время спектакля, однако она мне ничего не ответила, видимо считая такой вопрос дерзким.) Пока мадам обсуждала все, что только ей приходило на ум, она брала меховой палантин для себя и тут же автоматически кидала другой палантин для мамы, а потом, ни словом не обмолвившись о своем великодушном поступке, продолжала без устали болтать о том о сем... Общение для нее было дороже мехов, к тому же в Польше это было не столько роскошью, сколько необходимостью, поскольку зимы там длинные. Мы обе были невероятно благодарны и мадам Фаянс, и моим теткам, когда они дарили нам свои старые меховые изделия, из которых мы с мамой шили себе теплые варежки и шапки.

Два года, пока мадам Фаянс не умерла, были для нас лучшими за все время жизни в Варшаве. Я всегда сожалела, что она не присутствовала в зале, когда состоялся мой дебют. Как бы я гордилась этими двумя гранд-дамами, которые подкатили бы в этот день к Императорскому театру в элегантном экипаже мадам Фаянс.

Все месяцы, пока продолжались занятия в балетной академии, наш распорядок дня оставался неизменным. Учащиеся приходили к восьми утра, мальчики и девочки расходились в разные комнаты – нас всюду, кроме самой сцены, держали порознь. Первым делом мы чистили зубы зубным порошком, используя зубные щетки, на которых были напи-

саны наши имена. Потом мы переодевались в одинаковую одежду, какую нам бесплатно выдавало государство: трико, балетные туфли (балетки) и полосатое платье, с розовыми и белыми полосами, и на его рукаве была особая нашивка-шеvron, обозначающая каждый год обучения. С девяти утра до полудня шли занятия в классах. Потом нам давали ланч – горячее молоко с булочками. После этого учащиеся первого и второго года обучения были свободны, а старшие оставались на репетиции до трех часов дня. Один раз в неделю нас возили на экипаже в гимнастический зал, где мы делали упражнения на растяжку. Также каждую неделю нас возили в баню, а один раз в два месяца – на медицинское обследование. (Врачи приходили в училище только во время вступительных экзаменов.) Ездить нужно было в различные районы города, и мы всегда были рады такому перерыву в монотонных и напряженных занятиях в балетном классе. Первые два года я сразу после ланча приходила домой, прямо с Театральной площади спускаясь на нашу улицу по крутым ступенькам, а по утрам по ним же взбиралась наверх, идя на занятия. Дома я прибирала в комнате и готовилась к школьным урокам, которые начинались у меня в три часа дня. Я вела одинокий образ жизни, особенно в долгие польские зимы. А когда, наконец, научилась читать, очень радовалась возможности общаться с окружающим миром благодаря книгам. Вскоре я проглотила все книги из скудной коллекции моей учительницы (некоторые из них оказались

бульварными романами, какие мне вовсе не стоило читать в мои восемь или девять лет...), но потом настал черед тем книгам, которые она могла взять домой из школы, где работала. Нередко мне казалось, что описываемое в книгах и есть реальный мир, действительность.

Весной я любила неторопливо прогуливаться в Саксонском саду. Он находился недалеко от театра, и учащиеся балетной школы считали его подвластной им территорией. Я любила останавливаться у небольшого пруда, подолгу наблюдая за лебедями, и всякий раз так внимательно, с таким восторгом следила за каждым их движением, как будто никогда их прежде не видела. «Вот! Именно такой я хочу быть! – воскликнула я однажды, хватая за руку одну из моих юных спутниц. – Точь-в-точь как этот лебедь! Не двигаться хочу, а скользить. Вот что значит по-настоящему великолепно танцевать».

В первые годы обучения в балетной школе лето проходило всегда спокойно, даже однообразно. Я ходила плавать в одну из купален, их было немало по берегам Вислы. Их устраивали для бедняков, для всех, кто не мог себе позволить уехать от жары в горы. Входная плата была чисто символической, и я отправлялась в ближайшую купальню, неподалеку от Броварной улицы, иногда со своей учительницей, иногда с мамой или с какими-нибудь девочками с нашей улицы. Мы плавали не в специальном бассейне, а в отгороженной бревенчатыми стенками части реки, причем там даже снизу ста-

вили сети, чтобы в купальню не заплывали рыбы. Купально-го костюма у меня не было, поэтому я прыгала в воду прямо в трусах и нижней рубашке. После плавания я обсыхала под лучами солнца, лежа на земле, зажмурившись, и зачарованно следила за игрой цветочных пятен за закрытыми веками.

Я очень радовалась, когда мои первые каникулы подошли к концу и настала пора вновь ходить в балетную школу. Когда в репетиционном зале собрались старшие девочки, я увидела, что кое-кто из них заметно прибавил в весе: летом слишком много хорошей еды и мало физических упражнений. Появился пианист, который всегда аккомпанировал нам во время экзерсиса, и все мы автоматически встали у станка, начали разогреваться. До чего же сильно болело все тело в первый день после летней праздности, как ныли мышцы! Все стонали и охали и сами изумлялись тому, сколь мало движений мы смогли выполнить, а ведь совсем недавно, казалось бы, делали их без особых усилий.

Наконец появилась дама-преподавательница. Оказалось, что это была та самая женщина, что повела меня в туалетную комнату в мой первый день в училище. Интересно, вспомнит ли она меня, подумала я. Но едва увидев меня, она слегка, чуть насмешливо улыбнулась: значит, и правда вспомнила. Думаю, что все, кто учился у Янины Рутковской¹⁵, никогда

¹⁵ Р у т к о в с к а я, Янина (1887–1945) – педагог балета, была принята в балетную труппу Варшавских правительственных театров в 1890 г., в 1901-м стала

не забывали ее, независимо от того, каких успехов в конечном итоге они добились на балетном поприще. В мире балета, где зловредность и капризность танцоров – скорее правило, чем исключение, ее великодушие и терпеливость помогали многим из нас справиться с бурей чувств, с ощущением полной беспомощности и сильнейшим разочарованием – и все это из-за того, что не досталась какая-то роль, пусть самая незначительная. Возвращаясь мыслями в прошлое, я понимаю теперь, что и у нее самой было немало разочарований. Вероятно, она тщетно стремилась к карьере прима-балерины, так как невозможно всю жизнь нести такие тяготы, если не мечтаешь стать знаменитостью. Однако ее удивительная натура сказывалась уже в том, что нам она никогда не говорила об этом, а мы сами про это вообще не думали. Кстати, именно мадам Рутковская оказалась первой, кто разглядел во мне особые качества, выделявшие меня на фоне остальных учениц.

В конце второго года обучения она подвела итог проделанной работе для каждого из нас, желая подготовить к возможным разочарованиям, которые могли нам встретиться на следующем, третьем, году, когда мы, готовясь к своему дебюту, уже должны начать репетиции вместе с артистами балета. Она подошла как-то раз ко мне и сказала: «Пола, ты

солисткой. В 1907 г. изучала в Берлине египетские танцы. Получила известность исполнением танца семи покрывал в опере «Саломея». 1 сентября 1905 г. начала преподавать в балетной школе в Варшаве, где и проработала много лет.

танцуешь, может быть, и не лучше других, но это не главное. В вашей группе трое или четверо девочек танцуют куда лучше тебя. Зато у тебя есть иное качество – ты способна заставить всех зрителей смотреть на себя, то есть ты выделяешься среди остальных танцоров. Только будь осторожней с этим. Так ты сможешь добиться многого, причем без особых усилий, но не допускай этой ошибки. Всякий раз тебе надо делать максимум возможного, и тогда я даже не знаю, каких успехов можно будет ждать в будущем». Ее слова так и звучали у меня в ушах. Я еле дождалась, когда же смогу рассказать эту новость маме, но на нее эти слова не произвели никакого впечатления.

«У тебя через две недели первое причастие. Это куда важнее!» – только и сказала мама и тут же занялась домашними делами, ее руки нервно, автоматически что-то делали: то суп помешает, то вденет нитку в иголку, то повесит белье на веревку, а то перевесит его по-другому. Мне не нужно было ничего объяснять – это означало, что она в этот день ходила к отцу на свидание в тюрьму. Она всегда делалась такой после этих посещений. Правда, через некоторое время она взяла мою руку в свои ладони и сказала: «Это очень хорошо. Все, что сказала тебе мадам Рутковская, лишь означает, что надо работать как можно больше». Мне захотелось зарыться лицом в ее колени, так мне вдруг стало стыдно. Зачем все эти уроки, занятия, экзерсисы, если каждый вечер по возвращении домой тебя не покидает чувство, будто ты все еще

чего-то ждешь в этой комнате, где нет воздуха? Мама погладила мои волосы и произнесла: «После причастия я поведу тебя к папе. Хочу, чтобы он увидел тебя в белом платье и фате».

Я не видела отца со дня ареста. Родители решили, что будет лучше, если я встречу с ним, когда его освободят из тюрьмы. Но теперь они решили по-другому, а это лишь могло означать, что апелляция была отклонена. Я обняла маму. Мы сидели молча. Да и какой смысл в словах? Мы сидели так и обе плакали в этой ужасной чердачной комнате, где взрослый человек не мог встать в полный рост, не стукнувшись головой о покатый потолок. Нет, собственно слез ни я, ни моя мама не проронили, чтобы не делать больно друг другу, но они текли в душе, и обе понимали это. Ничего нет хуже, чем плакать без слез, ощущая боль внутри и не получая облегчения.

Слезы вдруг хлынули из глаз, когда мы отправились на трамвае через всю Варшаву, к тюрьме Пáвяк¹⁶. Я разрыдалась так громко, что мама даже отстранилась от меня, хотя по-прежнему сидела рядом, но в то же время как будто ее не было. Но мне все было безразлично. Я оттолкнула ее от себя. Ведь мое первое причастие оказалось связано со страшным унижением, и кого-то требовалось в этом обвинить. Следуя

¹⁶ Павяк – павлин (*польск.*). В 1905–1907 гг. главная тюрьма в Царстве Польском для политических заключенных и участников революционных событий.

типичной логике ребенка, я обвинила именно ту, кто, как и я сама, тоже сильно расстроилась, кто максимально мне сочувствовал и любил меня. Я возложила вину за случившееся на собственную мать.

Источником моих страданий была новая пара обуви. Потратившись на новое белое платье и фату, мама не смогла наскрести нужной суммы еще и на покупку хорошей обуви. Нас привлек внешний вид ботинок и то, что они были сделаны по последней моде – с застежками доверху. Но в тот самый момент, когда причастники пошли парами к алтарю, раздался громкий звук: что-то порвалось. Для меня он был подобен пушечному выстрелу. Я сразу поняла, что случилось, даже не поглядев вниз. Продолжая смотреть только вперед, на закутанную в фату голову шедшей передо мной девочки, я ощущала, как часть ботинка, что была ниже лодыжки, отрывается от верхней его части. О, если бы это случилось беззвучно! А теперь десятки глаз сразу скосились в мою сторону, хотя головы и остались неподвижными (можно было подумать, будто глаза сами собой переместились ближе к виску): всем хотелось посмотреть, что там у меня с ногами, что нарушило торжественность обряда. Сдавленное девичье хихиканье зашелестело контрапунктом григорианскому хоралу. Я же вперила взор в распятие над алтарем, мысленно умоляя Его об одном: «Господи, дай мне умереть. Прямо сейчас. Забери меня на небо. Ну, позволь же умереть. Пожалуйста...» Но вот мы с мамой уже шли вдоль длинной серой

стены, которая окружала внешний периметр тюрьмы. Она находилась на дальнем конце гетто, в таком месте, где солнечный свет нисколько не оживлял царившего вокруг хаоса, а, наоборот, лишь подчеркивал его. Я плелась, мрачно уставившись на свои ботинки, состоявшие теперь из четырех частей. Вдруг мама резко остановилась и, крепко ухватив меня за плечи, повернула к себе со словами:

– Все, довольно! Поняла? Хватит уже! Я не позволю, чтобы твой отец через столько времени увидел тебя в таком виде!

Мне вдруг стало очень стыдно – и не за то, как выглядела моя обувь, а за свое поведение:

– Прости, мама.

После этого мы еще довольно долго шли в полном молчании, потом мама взяла меня за руку и сказала:

– Понимаешь, Пола, если ты будешь и дальше так себя вести, в будущем тебя ожидает много бед. А как бы я хотела избавить тебя от них! Но это мне не по силам. Может, со временем само пройдет. Одна надежда на это. Ты ведь отлично справляешься с неприятностями, даже с несчастьями, но всякая ерунда, да хотя бы вот эти ботинки, тебя может совершенно вывести из себя.

В жизни куда больше разных неприятностей, чем действительно трагических событий. И если ты научишься не обращать внимания на мелкие неприятности, будешь куда счастливее... Потом мы вошли в темный сырой коридор, где пах-

ло мочой и смертью. Слышался непрекращавшийся шорох маленьких лапок: ведь только крысы способны свободно передвигаться в застенках. Камера у моего отца была маленькая, тесная, и вместо одной стены, со стороны коридора – тюремная решетка, сквозь нее видно все, что бы он ни делал. Для любого человека, кто мог пройти мимо, всё на виду: как он спит, бодрствует, ест, шагает туда-сюда, опорожняется, умывается... Для него это, наверное, самое тяжелое в тюремном заключении. Отец, обычно такой замкнутый, всегда чурался публичности, держал свои мысли при себе и обожал укромные места, известные только ему одному. Никому из нас он ни словом не обмолвился о своей революционной деятельности. Он прежде всего хотел быть обычным человеком, частным лицом – да он и был таким. Мы с мамой стояли в коридоре у камеры отца. Рядом с нами во время свидания были еще два тюремщика. Я не видела его больше трех лет – на тот момент это более трети моей жизни. Хотелось много рассказать ему, ни на что не хватало времени. Он было протянул мне руку, но потом, пожав плечами, опустил ее. Оказалось, что из-за прошедших лет невозможно прикоснуться друг к другу, и это было хуже железной решетки, которая разделяла нас. Он не видел, как я росла и изменялась, и вот теперь перед ним стояла незнакомка. Отец ужасно изменился, сильно похудел, стал каким-то серым.

Его кожа, волосы, одежда – все было серое. Он будто превратился в гранитную статую, изображавшую Дон Кихота,

когда тот был несколько моложе.

Мама без конца говорила о том о сем, но, хотя речь шла о разных серьезных событиях в нашей жизни, в этих стенах все звучало неуместно. Что дражайшая мадам Фаянс, бедняжка, умерла от инсульта, а под конец уже не могла говорить, так что даже казалось, будто именно это ускорило ее смерть. Что сама мама теперь в новом амплуа: открыла домашнюю столовую и готовит еду на заказ. А у маленькой Полы скоро будет дебют на сцене, она танцует одну из маленьких лебедей в «Лебедином озере», и все мы с нетерпением ждем этого, радуемся этому.

Но папины новости, пересекаясь с мамиными, зачеркивали их:

– Приходил адвокат. Наше прошение о пересмотре дела поставлено в календарь судебных заседаний.

– Знаю, – только и сказала мама.

– А что, если мне откажут...

Мамина рука произвольно прикрыла ему рот, просунув ее сквозь прутья решетки:

– Ш-ш-ш! Ни слова больше! Не говори об этом.

– Элеонора, Элеонора, – повторял папа, целуя ее руку, – прости меня.

Тюремщик оттащил маму от решетки:

– Не полагается. Прикасаться к арестантам запрещается.

Папа отвернулся с горькой улыбкой.

– Ну да, как в зоопарке – запрещается кормить живот-

ных...

Меня вдруг будто что-то толкнуло, я бросилась на эти холодные, влажные прутья, вжалась в них лицом, громко закричала, просовывая руки сквозь решетку:

– Папа! Папа!

Он упал на колени, привлек меня к себе. Мы обнялись, поцеловались через эти прутья. Только два тюремщика вместе смогли справиться с нами, разделить нас, но было поздно: это уже не играло никакой роли. Теперь нам с папой ничего не могли сделать, потому что за один краткий миг наши объятия преодолели разделявшие нас годы, а это важнее всего.

Свидание с папой в тюрьме произошло поздней весной, а в начале октября, в очередное серое, унылое, безрадостное утро, когда весь мир казался грязным, мы с мамой отправились к какому-то воинскому вокзалу, чтобы там попрощаться с отцом. Нашу апелляционную жалобу отклонили, и теперь его отправляли в лагерь для политических заключенных, куда-то в Сибирь¹⁷. Мы долго-долго, так и не проронив ни слова, ехали на трамвае в Прагу, на другой берег Вислы. Вагон был набит рабочими, все дремали в пути, пытаюсь еще хоть немного поспать, но ехали и те, кто, как и мы, собирались проститься с любимыми, родными... и, быть может, на-

¹⁷ Хотя Пола Негри и пишет «в лагерь», однако тогда в Сибирь ссылали на каторгу или поселение. Первые лагеря возникли в 1919 г., притом не в Сибири, а на севере России (в Соловках).

всегда.

Вокзал оказался просто деревянным сараем с навесом под открытым небом. Кругом одни начищенные сапоги и угрюмые лица. Мы приехали слишком рано. Ожидание было мучительным, но мама выдавала свои чувства лишь тем, что то и дело сжимала и разжимала мою ладонь. Наконец их привели. Заключенных заковали в цепи, которые были на талии и между ногами. Их охраняло много русских солдат. Этих измученных людей даже в наручниках считали самыми опасными преступниками в Варшаве. А ведь эти смутьяны выступали за нашу свободу. Но даже скованные цепями, они продолжали бороться. Приближаясь к вокзалу, арестанты пели патриотические польские песни, в которых говорилось о наших бедах и надежде на освобождение. Эти люди сами, своей борьбой, добились крайней степени свободы. Да, они потеряли родных и близких, свое имущество, свою страну, у них не было надежды на справедливость, на обжалование решения суда, на помилование, но теперь они освободились от всего, что заставляет угнетенных вставать на колени перед своими угнетателями. Они могли петь обо всем, о чем хотели, даже могли дерзко крикнуть стражникам «*Id do diabła!*», то есть «Пошел к черту!»...

Мой отец, казалось, еще больше исхудал. Лицо заросло бородой, и от всего, что напоминало мне о человеке, кого я так любила, остались лишь прекрасные глаза, наполненные слезами. В них сквозила такая боль, которую я никогда

не забуду. Он поднял меня на руки, чтобы благословить. Я прижалась к его удивительно мягкой бороде и вдруг почувствовала соленый вкус своих слез, которые запутались в ней. «Прощай, малышка. Авось увидимся, еще не так много времени пройдет». Тон его голоса был почти что будничным, непринужденным, но сам он, казалось, задрожал всем телом, когда поставил меня на ноги. Он обнял маму. Они не сказали друг другу ни единого слова, лишь стояли молча, обнявшись, стояли, соединенные цепями со всеми другими арестантами и их женщинами: ведь цепи ни с кого не сняли, даже ради этого, последнего, момента прощания. Было невозможно ни прошептать что-то особенное, интимное, родному человеку, ни сказать в напутствие что-нибудь важное, мудрое, слова любви или укоризны, ненависти или покаяния. Было лишь одно – отвратительный, жуткий лязг оков, постоянно напоминавший всем, куда попали узники и что их ждет в будущем.

Распевая свои вольные песни, ссыльные ушли прочь, оставив нас в одиночестве, быть может, навсегда. Только когда они пропали из виду, когда их песня перестала быть слышна, мама наконец вскрикнула, и крик этот впоследствии всегда звучал у меня в голове в ту минуту, когда я сама испытывала отчаяние. Впрочем, это был скорее долгий, утробный стон, и в нем слились все слова, которые она сдерживала в себе из страха, что, если дать им прорваться наружу, она бы принялась надрывно выть, браниться, биться о худящую грудь

отца, крича ему:

«На кой черт нам все это? Зачем ты это сделал? К чему? Все было так хорошо. Мы были счастливы. А что теперь? За что нам это?» Вопросы ее были риторическими, она знала ответы на них.

Такова была натура отца, его характер. Именно за это она его когда-то полюбила, а теперь уже ненавидела, хотя все же все равно любила.

Мы медленно пошли к трамвайной остановке.

– Ты не опоздаешь? – лишь спросила она.

– Нет, мама. Не опоздаю.

– Хорошо. Я бы не хотела, чтобы ты опоздала.

Всю поездку назад, через Пражское предместье, она без конца расспрашивала меня обо всем на свете. Когда начнет-ся репетиция? Как выглядят другие танцовщики и танцовщицы? Сильно ли я волнуюсь перед своим дебютом предстоящим вечером?.. Мы уже шли по мосту через Вислу, когда она сказала:

– Сегодня я не приду. В другой раз. Сегодня не могу. Тем более в театр... Ты понимаешь?

– Да, мама, конечно...

А ведь мадам Рутковская зарезервировала для нее место на балконе. Но я уже с утра понимала – оно останется неза-нятым, готовила себя к тому, что мама скажет мне об этом. Так я пыталась воспринимать мелкие недоразумения так же спокойно, как и серьезные трагедии...

Даже невозможно представить себе, сколько там было хрусталя, плюша, красного бархата и золотых орнаментов. Наш репетиционный зал никак не подготовил меня к огромному пространству сцены, где я оказалась впервые. Конечно, это воспоминания ребенка, тем не менее ни один из театров на свете, какие мне позже довелось увидеть, не мог сравниться с великолепием Императорской оперы в Варшаве.



Императорская опера в Варшаве, 1910-е годы

Для исполнения танца маленьких лебедей было отобрано двенадцать девочек из пятидесяти. В конечном счете все девочки из класса рано или поздно выступали в ролях «детского кордебалета», однако мадам Рутковская выбрала именно нас для этого особенного выступления, поскольку сочла нас

наиболее обещающими танцовщицами.

Ведь предстояло торжественное гала-представление. В этот вечер в качестве приглашенной прима-балерины выступала великая Карсавина, она исполняла двойную роль Одеты-Одиллии в «Лебедином озере».

Тамара Карсавина была самой красивой балериной России, и в то время ее ценили ничуть не меньше Анны Павловой. Некоторые даже считали ее более значительным явлением, поскольку при создании образа балерина умела работать над ним вместе с остальными танцорами в труппе, так что он органично вливался в общее балетное представление.

А божественная Анна всегда словно танцевала на сцене в одиночестве, хотя была, несомненно, величайшей прима-балериной всех времен. Карсавина, разумеется, была тоже блистательной танцовщицей, но я все же не могу полностью согласиться с ее поклонниками. Когда на сцену выходила Павлова, возникало ощущение волшебства – такого ты не испытаешь никогда, ни с кем другим из танцовщиц. Описать словами это невозможно, это куда больше чем великолепная техника танца, которую демонстрировала изящная, гениальная балерина. Впечатление от увиденного сохранилось в моей памяти навсегда, и точно то же самое испытывали все, кто хотя бы однажды видел ее. Я пишу это вовсе не с целью как-то умалить талант Карсавиной: быть второй величиной после Павловой означало быть куда более значительной фигурой в балете, чем все остальные танцовщицы той эпохи. В даль-

нейшем лишь немногие смогли, пожалуй, сравниться с нею.

Все «маленькие лебеди» невероятно волновались, ожидая, когда же смогут, наконец, впервые увидеть настоящую звезду балета. Одна я, после всех своих утренних событий, пребывала в подавленном состоянии. На глаза мне то и дело наворачивались слезы, но для тех, кто это замечал, моя гордость не позволяла объяснить, в чем причина. Я даже не стала высмеивать «лебедят» вместе со всеми. Так называли тех, кто танцевал вариации вместе с прима-балериной. По традиции это должны были быть самые юные танцовщицы, подающие большие надежды. Но в нашей труппе все было иначе. Наши «лебедята» были очень немолоды, им было уже за сорок, и для нас, девочек девяностидесяти лет, они казались древними старухами.

Все эти балерины, согласно моде той эпохи, были особами очень красивыми и довольно пухленькими. За кулисами театра быстро узнаешь всевозможные жизненные реалии, так что мы, пусть и очень молодые танцовщицы, уже были в курсе, что все эти «лебедята» – фаворитки богатых и влиятельных господ, благодаря чему и сохраняли свои места в труппе.



Анна Павлова, 1910-е годы



Тамара Карсавина, 1910-е годы

Они всегда были увешаны невероятными, крупными драгоценностями, и сколько бы ни возражал против этого художник по костюмам, они все равно выходили в них на сцену. Большинство моих ровесниц уже не обращали на это никакого внимания, принимая такое как данность... Одна из них, будучи мудрой не по годам, и вовсе заявила: «Если уж мне не суждено быть Анной Павловой, буду хотя бы таким маленьким лебедем».

Когда великая балерина прошла мимо нас на сцену, воцарилось благоговейное молчание. Его нарушали разве что звучавшие полупшепотом возгласы «О, мадам!», как будто легкий ветерок выражал ей свое почтение. В тот момент я мгновенно осознала, что именно ради этого я и стараюсь быть лучше всех, именно этого я больше всего в жизни хочу для себя. Если станешь звездой, будешь неуязвимой. Я наивно полагала тогда, что никто бы не осмелился поступить с отцом Карсавиной так, как они поступили с моим...

Прежде мы репетировали без нее, и сейчас была единственная репетиция с участием всей труппы. Я внимательно впитывала каждое ее движение, каждую мельчайшую деталь, даже то, с какой величавостью она свела на нет те небольшие танцевальные эпизоды, которые наш режиссер ввел в спектакль, чтобы показать в выгодном свете танцоров нашей труппы. Вставленные эпизоды ей явно не понравились. Она ведь звезда и хотела танцевать по-своему. Было ясно, что следовало делать все только так, как хотела она. Я внима-

тельно следила, как легко, без видимого усилия Карсавина выполняла каждое па, какими плавными и грациозными были струящиеся движения рук, как изумительно исполняла она знаменитые тридцать два фуэте, не сходя с места даже на миллиметр. И я подумала: «Того, что делает Карсавина, я смогу добиться только за двадцать пять лет», а внутренний голос вдруг произнес: «Быть может, никогда не добьюсь». Но я сразу отбросила эту мысль: «Нет-нет, через двадцать пять лет и я добьюсь того же!» Однако двадцать пять лет, конечно, долгий, очень долгий срок, и поэтому в перерыве между репетицией и спектаклем меня одолела прежняя хандра. Я не смогла ни прилечь, ни вздремнуть, ни что-нибудь поесть. Все решили, что я так сильно нервничаю, однако решила, что нет смысла что-либо объяснять. Я быстро переоделась в костюм для выступления – белоснежное платье из материи с лебяжьим пухом и шапочку из перьев – и скорее помчалась вниз, чтобы взглянуть на зрителей в зале: это можно сделать через одну из дырочек в огромном бархатном занавесе. В театре уже собралось много людей. Драгоценности, дамские наряды, мундиры... да, в ту пору гала-представления отличались особым блеском, который даже невозможно себе представить в нашем, куда более утилитарном мире.

Я принялась мечтать, будто весь этот блеск и все великолепие были в честь моего дебюта, но вдруг меня пронзила острая боль: я вспомнила, что там не хватало двух самых важных для меня людей. Во всем этом огромном театраль-

ном зале не нашлось места для моих родителей, и снова хлынули слезы. Они так и лились, когда объявили пятиминутную готовность. Они все еще капали, когда нам было приказано встать по местам. Они были у меня на щеках, когда мы выходили на сцену. Но вдруг яркий свет прожекторов ослепил нас, и оглушительный, потрясающий звук аплодисментов подействовал на нас как резкая пощечина, и мы не ощущали больше ничего, кроме того, что происходило на сцене. Я забыла о слезах. Я забыла обо всем, что случилось в этот день и даже за все годы после моей жизни в Липно. Существовал один лишь этот миг на сцене, а все остальное не играло никакой роли...

Глава 2

La Belle Époque, то есть «Прекрасная эпоха» – так французы называли в чем-то наивный период времени до начала Первой мировой войны. Тогда по всей Европе, на всем ее пространстве, царил мир, притом столь прочный, что даже заглушил первые, плохо слышные раскаты грома, который в конце концов прогремел всюду. Одним из самых счастливых воспоминаний той поры стало событие, произошедшее перед самыми летними каникулами. В тот день всю нашу балетную труппу отвезли в парк Лазэнки¹⁸, чтобы она дала специальное представление в честь завершения сезона.

Костюмы и декорации привезли в парк за несколько часов до того, как туда приехали исполнители. Уже в ранние часы, когда горожане только просыпались, прелестную тишину нарушили воркотня театральных костюмерш да брань рабочих сцены, которые пилили доски и стучали молотками. Иногда ржали битюги-тяжеловозы, тащившие огромные декорации. Где-то в парке, быть может, и запела птичка, но ее рулады утонули в какофоническом шуме, возникшем при подготовке к созданию будущей иллюзии...

Ближе к вечеру перед нашим последним представлением

¹⁸ Лазэнки Королевские – это название крупнейшего парка Варшавы, расположенного в центре города, он существует с XVII в. Здесь был некогда устроен купальный павильон (бани) – по-польски «лазэнки».

над городом господствовал огромный солнечный диск, побелевший от жары, он уже клонился к закату, низко повиснув на бледно-голубом небе. В моей памяти варшавское солнце того лета казалось гораздо огромнее, чем когда-либо еще, в других местах и в другие моменты моей жизни, да и небо в тот вечер было самым прозрачным из всех, что я видела. Лишь на горизонте его обрамляли клочья облаков, похожие на скомканные бумажные салфетки.

На улице перед оперным театром собралась толпа: варшавяне хотели лицезреть проход балетной труппы от театра до великолепных экипажей, которые нам предоставили правившие Польшей царские властители. Тогда еще ярко пламенел золотой орнамент открытых колясок. Мы, конечно, ведать не ведали, что этот огненный блеск уже довольно скоро навсегда погасит буря, таившаяся за кулисами истории, что всего через несколько лет облака почернеют, превратятся в грозовые, а затем буря унесет их прочь, подобно мусору, по вечному, прозрачному, мерцающему небу. Но таких мыслей тогда и быть не могло в голове у одиннадцатилетней девочки, которая гордо шествовала в сторону кавалькады, стоявшей на Театральной площади, и была убеждена, что находится в центре всеобщего внимания. Впрочем, точно так же думали все юные балерины рядом со мною. Нас всегда выпускали к публике первыми, чтобы мы вызвали у зрителей улыбку своим юным видом, а чуть позже она сменится страстным вздохом, когда после специальной паузы перед всеми появятся

звезды балетной труппы. В тот день мы хоть и изнемогали от жары, но все равно высоко держали головы и даже капельки пота несли, как драгоценности...

Кавалькада двинулась по Краковскому предместью, широкой улице, которая вела прямо ко входу в парк. До чего же все изменилось в моей жизни с той поры, когда я впервые увидела этот проспект, застроенный красивыми барочными зданиями, в тот день мы с мамой отправились в наше паломничество до Ченстоховы. Все-таки, несмотря на все трудности и невзгоды, даже несмотря на то, что отца в результате отправили в ссылку, Божья мать ниспослала мне какие-то свои милости.

Пока мы ехали в каретах, люди на улицах останавливались, махали руками, но я не отвечала им на это. Я затвердила одно из правил, которые дала нам Янина Рутковская: «Не следует улыбаться кому-то, кланяться, а не то и подмигивать. Играть надо не с ними, а для них».

Парк Лазенки был спланирован и устроен вдоль старого русла Вислы еще в конце XVIII века по воле последнего польского короля Станислава Понятовского. Здесь были и прекрасные аллеи под величавыми деревьями, и искусственные водоемы, и множество цветочных клумб, и небольшие, элегантные, белоснежные палладианские виллы. Самым элегантным строением был небольшой белоснежный дворец, служивший королю летней резиденцией. От его портика с коринфскими колоннами к озеру вели широкие каменные

ступени. А на острове посреди этого озера и сегодня можно видеть театр под открытым небом, где мы и давали представление в 1911 году. Экипажи подвезли нас к амфитеатру на берегу озера. Там, точь-в-точь как в древности, в Афинах, рассядутся зрители. Мы перешли на остров по небольшому пешеходному мостику, устроенному так искусно, что со стороны, даже с небольшого расстояния, его попросту невозможно заметить. На острове со всех сторон, кроме одной, обращенной к зрителям, были густые заросли цветущих растений, их было столько, что сцена походила на лесную поляну.

Мы появились там в самый разгар невероятных пререканий – так обычно бывает в театре до начала представления. На этот раз оказалось, что нужный свет для па-де-де невозможно выставить и прима-балерина не может выйти на сцену с той стороны, откуда привыкла появляться. Невозможной была даже сама мысль, что вечером удастся показать зрителям балетный спектакль. Правда, к тому моменту, когда зазвучит увертюра, все невозможное окажется не только возможным, но и будет преодолено без особых усилий, а пока кругом стояла сплошная неразбериха, сумятица, все на что-нибудь жалуются, все носятся туда-сюда, кричат, поскольку кое-кто, как всегда, не в состоянии сдержать свои эмоции. В общем, можно подумать, будто вот-вот должно случиться светопреставление, хотя на самом деле нам всего лишь предстояло показать простой, веселый народный балет под

названием «Польская свадьба»¹⁹.

Подобный кавардак, вообще говоря, возникает перед любым театральным представлением, но на меня все происшедшее тогда ужасно подействовало, и я, превратившись в комок нервов, и в самом деле считала, что светопреставление уже началось... Некоторые танцовщицы из-за этого подтрунивали надо мной, даже начинали подраживать. «Вот, Пола, смотри и учись, – говорили они. – Учись всему. Если хочешь, чтобы к тебе относились как к звезде, надо понять, как ведут себя прима-балерины. Они же начинают представление еще до начала спектакля...» Пожалуй, девочки тогда просто подкалывали меня, однако это и в самом деле совершенно верно. Повышенная чувствительность, импульсивность, темпераментность служат артистке, балерине как предохранительный клапан. Эти качества позволяют избавиться от страхов, раздражения, чувства бессилия или безысходности. Лишь после этого она будет готова с новыми силами глубоко погрузиться в мир чувств и мотиваций того образа, который ей предстоит создать на сцене.

Для актрисы ценнее всего возможность создать реальный образ, чтобы реакции изображаемого персонажа стали са-

¹⁹ Одноактный балет «Свадьба в Ойцове» Кароля Курпинского и Юзефа Дамсе после первой постановки в 1823 г. был известен и под другими названиями («Краковская свадьба в Ойцове», «Крестьянская свадьба» и др.). Этот первый польский балет, основанный на народных танцах, был возобновлен в 1911 г. в постановке Михала Кулеша на сцене варшавского Театра Вельки (Большого театра) и оставался в его репертуаре до 1939 г.

мостоятельными, независимыми от самой актрисы. Я всегда с недоверием отношусь к исполнительнице, кто в рамках своей роли задается вопросом, а как бы она сама поступила в данной ситуации. Если это случится, актриса не будет создавать образ, но лишь начнет воспроизводить на сцене черты собственной личности. Первейшая художественная задача – интерпретировать намерения автора. Поэтому пусть ведущая актриса, звезда театра, привыкшая «рвать и метать», устраивая всевозможные выходки перед своим появлением на сцене, ведет себя так, что большинство обычных людей сочтут это недопустимым, совершенно непонятным, все окупится созданием образа на сцене или на экране, который предстанет невероятно искренним, логичным, волнующим, трогаящим за душу. Что ж, такое, пожалуй, не просто переносить коллегам этой звезды (и ей после подобной вспышки обязательно нужно извиниться перед ними за все произошедшее), однако зачастую бывает просто необходимо воспользоваться столь сильным очищающим средством, как грандиозная истерика... В целом обстановка в театре не для робких духом. Однако настоящих выдающихся артистов нельзя сравнивать с обычными людьми только на том основании, что актеры – тоже люди. Существует граница между ними, и она определяется одним словом – талант. В самом деле, меня могут восхищать соседские подростки, мальчик и девочка, однако, если они вдруг решат сыграть для меня роли в «Ромео и Джульетте», я скорее всего помру от скуки...

Мы и без того постоянно репетировали до дня этого представления, так что мы лишь прошествовали за кулисы, чтобы переодеться, притом неторопливо, будто у нас в запасе полным-полно времени. Оказалось, что здесь восхитительные артистические уборные! Куда просторнее, чем даже в Императорском театре, гораздо лучше оборудованы, и в каждом таком помещении находилось меньше танцовщиц. Поэтому здесь все располагало к тому, чтобы, преображаясь в польских крестьянок, мы ощущали себя польскими принцессами... Переодевшись, я вышла на пустую сцену. Декорации были смонтированы, и я услышала, что где-то раздается смех рабочих сцены, они теперь могли передохнуть до окончания спектакля. А откуда-то послышалось пение. Что ж, в Лазёнках, когда мы здесь выступали, у нас всякий раз возникало ощущение праздника. Закат догорал бледно-лиловыми оттенками. Фонари в парке не давали сильного света, оставаясь мерцавшими белыми дисками на фоне темневшего неба. Веселая песня звучала печально в этом мире, лишенном глубины, где все предметы выглядели как лиловые силуэты, резко выделявшиеся на розовом фоне. Я повернулась в сторону дворца. Все жившие там короли давно умерли, оставив свои владения лицедеям. Вот каков избранный мною мир – это мир розовато-сиреневых теней, среди которых ничто не было реальным. Мне стало грустно, я вдруг преисполнилась той грусти, какая порой возникает только в юности, когда ты вдруг почему-то теряешь вкус к жизни. До чего же мудра бы-

ла я в тот вечер, до чего восприимчива, до чего еще молода! Но чему бы я впоследствии ни научилась, больше ни разу не довелось мне быть столь уверенной и прозорливой, как в те минуты, когда я, еще довольно маленькая девочка, стояла одна на пустой сцене, подсвеченная всеми оттенками красного света, и разглядывала дворец давно усопшего монарха.

«Пола! Пола!» – послышалось вдруг. Как же не хотелось, чтобы меня именно сейчас потревожили! Но я все-таки улыбнулась, ведь меня позвала маленькая Катя, самая юная из нас – такой была и я два года назад, когда состоялся мой дебют на сцене. Мы с нею, две малышки, включились в гонку со всей вселенной, и притом каждая была уверена, что именно она станет главной звездой представления. И эту гонку мы не могли не проиграть, потому что, пока мы стояли на сцене, погрузившись в свои мечтания, Господь уже зажег первую яркую звезду, которая увенчала крышу Бельведерского дворца, прямо над балюстрадой. Я зажмурилась и пробормотала:

– Свет звезды, яркий свет, первой звездочки завет...

– А что ты сейчас пожелала? Чего ты хочешь больше всего на свете? – спросила Катя. – Ой, нет, не говори, а то волшебство не случится и желание не сбудется.

Когда Катя принималась щебетать своим тоненьким милым голоском, казалось, будто звенят колокольчики.

– А тебе нравится тут, в Лазёнках? Правда красиво? – не

унималась она. – Правда чудесно? Даже божественно, да? Прямо как...

– Да, как во сне.

– Вот-вот, – восторженно кивнула она. – В чудесном сне!

Она уставилась в полумрак, в котором лишь розовато-сиреневые тени окрашивали подмости сцены, и сказала:

– А ты такая грустная.

– Правда? – удивилась я, вдруг осознав, что и в самом деле грущу, но тут же принялась отнекиваться: – Я? Что ты! Ничего подобного! Просто сейчас свет такой. Хорошо бы поскорей совсем стемнело и все бы уже собрались в зале. Все-все. Потому что будет так здорово!

– А мне всякий раз почему-то неприятно. Ведь когда мы выходим на сцену, тут же начинаются ахи да охи: ах, какие же они миленькие и так далее... Нам вроде бы и делать ничего не нужно, только быть милыми созданиями.

– Но ты же пока ничего особенного и не умеешь, – сказала я, впрочем вполне беззлобно.

А сама принялась делать пируэты по всей сцене, выкрикивая в темноту:

– Боюсь сцены! Боюсь выступить!

Тут дворец неожиданно осветился, ярким пятном пронесся у меня перед глазами. Я перестала кружиться, так как вдруг устала и задохнулась, а Катя весело рассмеялась:

– Это ты-то боишься сцены? Ты?..

– Да вот что-то я в последнее время устаю. Даже страшно

порой. Я ведь хочу... ну... а сама так устаю. Что же со мной будет, если не получится стать... – тут я рассмеялась, но все же продолжила: – ...целым миром? Странно, да? Я в самом деле хочу стать всем на свете, целым миром. Всем, что в нем существует.

Тут я так расхохоталась, что встревоженная Катя в конце концов потянула меня за руку со словами:

– Пойдем лучше за кулисы, а то скоро уже начнут.

Звуки, доносившиеся из зала, шум собравшихся зрителей напоминали шелест в зарослях камыша, продуваемого ветром, а позже оглушительные аплодисменты, раздавшиеся по окончании представления, прозвучали, завершая этот, все же исполненный счастьем вечер, будто раскаты грома в летнюю грозу.

Приступ усталости, который так напугал меня тогда, перед началом представления, вовсе не был плодом моего воображения. Я уже довольно давно ощущала вполне реальную, сильную усталость, и это очень мешало мне. Я попыталась убедить себя, что слишком много на себя взвалила. Подъем по крутой лестнице от дома к театру, рвение, с каким я выполняла экзерсисы в балетном классе, долгие репетиции в театре, домашние уроки с учительницей – все вместе давало такие нагрузки, что порой было мне не по силам. Я очень надеялась, что летнее ничегонеделание поможет привести все в норму.

Сразу после представления в Лазёнках мы с мамой отправились на целый месяц в Брдун, где жила моя тетя Мария. Брдун был небольшой деревней в центре богатого сельского региона, где стояло множество великолепных усадеб польских аристократов. Мама родилась в этих местах и провела здесь всю свою молодость. Пока кучер вез нас от станции до теткиного дома, я стала куда лучше понимать, глядя на окружающие ландшафты, откуда у мамы это состояние безмятежности, умиротворенности, ее хладнокровие, откуда ее спокойствие, позволявшее справляться со всеми напастями, которые никак не оставляли нас. К этому располагала сама природа: на все стороны, сколько хватало глаз, на многие мили простирались изобильные уголья, притом не было и намека на какие-нибудь горы или хотя бы холмы, отделявшие земной простор от небесного.

Тетя Мария была зажиточная вдова, она жила в низком побеленном доме, который окружал прекрасный, хотя и неухоженный сад. Здесь все оказалось так похожим на Липно, что я мгновенно освоилась на новом месте, чувствуя себя как дома. Здесь я конечно же смогу восстановить силы, чтобы по-прежнему, как и в прошлые годы, трудиться без усталости. Для нас с мамой был накрыт богато сервированный стол – такой и сама мама устраивала раньше. В доме звенели счастливые голоса двух сестер, они вспоминали каких-то родственников, чьи имена я знала только понаслышке, и потому мои вопросы (А кто был такой-то? А о ком вы только

что говорили?) без конца прерывали их воспоминания, и они обе отвечали мне с легкой досадой, что это, мол, долго рассказывать, и тут же погружались в новый круговорот воспоминаний. Когда обед завершился, я поскорей выскользнула из дома. Меня ждали окрестные леса, их предания были куда понятнее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.